
ПАВЕЛ БАЖОВ
Медной горы Хозяйка
СКАЗЫ

Медной горы Хозяйка

Павел Петрович Бажов

Аннотация
Павел Бажов. Медной горы Хозяйка. Сказы
Медной горы Хозяйка
Малахитовая шкатулка
Две ящерки
Приказчиковы подошвы
Сочневы камешки
Каменный цветок
Горный мастер
Хрупкая веточка
Травяная западёнка
Таюткино зеркальце

Аннотация

10 знаменитых сказов П.П. Бажова о жизни древнего Уральского края, его людях, сокровищах и таинственных обитателях. В книгу вошли «Медной горы Хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Горный мастер», «Хрупкая веточка» и другие сказы. Яркие, стильные, атмосферные иллюстрации современной художницы Е. Шафранской. Её работы отмечены золотой и серебряной медалями Творческого союза художников России.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Павел Бажов
Медной горы Хозяйка
Сказы

Иллюстрации Елены Шафранской

© Бажов П.П, текст, наследники, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *

Медной горы Хозяйка



Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были. За Северушкой где-то. День праздничный был, и жарко — страсть. Парун чистый. А оба в горе робили, на Гумёшках то есть. Малахит-руду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королёк с витком попадали и там протча, что подойдёт.

Один-то молодой парень был, неженатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подёрнулись. И кашлял за́все тот человек.

В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух лёгкий. Их, слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железну руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только вдруг молодой, — ровно его кто под бок толкнул, — проснулся. Глядит, а перед ним на

грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать — девка. Коса ссиза-чёрная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зелёные. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо — на месте не посидит. Вперёд наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнётся, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Однем словом, артуть-девка[1]. Слыхать — лопочет что-то, а по-каковски — неизвестно, и с кем говорит — не видно. Только смешком всё. Весело, видно, ей.

Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло.

— Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Её одёжа-то. Как я сразу не приметил? Отвела глаза косой-то своей.

А одёжа, и верно, такая, что другой на свете не найдёшь. Из шёлкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как

---

[1] Примечания: 1

Артуть-девка — живая, подвижная.

шёлк, хоть рукой погладить.

«Вот, — думает парень, — беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта — малахитница-то — любит над человеком мудровать.



Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой:

— Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-от ведь деньги берут. Иди-ка поближе. Поговорим маленько.

Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а всё ж таки девка. Ну, а он парень — ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть.

— Некогда, — говорит, — мне разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли.

Она посмеивается, а потом и говорит:

— Будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть.

Ну, парень видит — делать нечего.

Пошёл к ней, а она рукой маячит: обойди-де руду-то с другой стороны. Он обошёл и видит — ящерок тут несчисленно. И все, слышь-ко, разные. Одни, например, зелёные, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло либо слюда, блестят, а другие, как трава поблёклая, а которые опять узорами изукрашены.

Девка смеётся.

— Не расступи, — говорит, — моё войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжёлый,

а они у меня маленьки. — А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали.

Вот подошёл парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и всё смехом:

— Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу — беда будет.

Он поглядел под ноги, а там и земли незнатно. Все ящерки-то сбились в одно место, — как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан — батюшки, да ведь это руда медная! Всяких сортов и хорошо отшлифована. И слюдка тут же, и обманка, и блёски всякие, кои на малахит походят.

— Ну, теперь признал меня, Степанушко? — спрашивает малахитница, а сама хохочет-заливается. Потом, мало погодя, и говорит:

— Ты не пужайся. Худого тебе не сделаю.

Парню забедно стало, что девка над ним насмехается да ещё слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже:

— Кого мне бояться, коли я в горе роблю!

— Вот и ладно, — отвечает малахитница. — Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик, ты ему и скажи, да, смотри, не забудь слов-то: «Хозяйка, мол, Медной

горы заказывала тебе, душно́му козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели ещё будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в Гумёшках туда спущу, что никак её не добыть».

Сказала это и прищурилась:

— Понял ли, Степанушко? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела, а теперь иди да тому, который с тобой, ничего, смотри, не говори. Изробленный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать. И так вон лазоревке сказала, чтоб она ему маленько пособила.

И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рукног — лапы у её зелёные стали, хвост высунулся, по хребтине до половины чёрная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит:

— Не забудь, Степанушко, как я говорила. Велела, мол, тебе, — душно́му козлу, — с Красногорки убираться. Сделаешь по-моему, замуж за тебя выйду!



Парень даже сплюнул вгорячах:

— Тьфу ты, погань какая! Чтоб я на ящерке женился.

А она видит, как он плюётся, и хохочет.

— Ладно, — кричит, — потом поговорим. Может, и надумаешь?

И сейчас же за горку, только хвост зелёный мелькнул.

Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились, а у Степана одно на уме: как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело не малое, а он ещё, — и верно, — душно́й был — гниль какая-то в нутре у него, сказывают, была. Не сказать — тоже боязно. Она ведь Хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть. Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвастуном себя оказать.

Думал-думал, насмелился:

— Была не была, сделаю, как она велела.

На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошёл. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит:

— Видел я вечóр Хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душнóму козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на Гумёшках туда спустит, что никому не добыть.

У приказчика даже усы затряслись.

— Ты что это? Пьяный али ума решился? Какая Хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!

— Воля твоя, — говорит Степан, — а только так мне велено.

— Выпороть его, — кричит приказчик, — да спустить в гору и в забое приковать! А чтобы не издох, давать ему собачьей овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что — драть нещадно!

Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный, — тоже собака не последняя, — отвёл ему забой — хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было, — крепость. Всяко галились над человеком. Надзиратель ещё и говорит:

— Прохладись тут маленько. А уроку с тебя будет чистым малахитом столько-то, — и назначил

вовсе несообразно.

Делать нечего. Как отошёл надзиратель, стал Степан каёлкой помахивать, а парень всё ж таки проворный был. Глядит — ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало.

«Вот, — думает, — хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне Хозяйка».

Только подумал, вдруг звосияло. Глядит, а Хозяйка тут, перед ним.

— Молодец, — говорит, — Степан Петрович. Можно чести приписать. Не испужался душно́го козла. Хорошо ему сказал. Пойдём, видно, моё приданое смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна.

А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а Хозяйка им распорядок дала:

— Урок тут наломайте вдвое. И чтобы на отбор малахит был, шёлкового сорту. — Потом Степану говорит: — Ну, женишок, пойдём смотреть моё приданое.

И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идёт — всё ей открыто. Как комнаты большие

под землёй стали, а стены у них разные. То все зелёные, то жёлтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Однем словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней — на Хозяйке-то — меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, потом опять шёлком зелёным отливает. Идут-идут, остановилась она.

— Дальше, — говорит, — на многие вёрсты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после Гумёшек самое дорогое место.

И видит Степан огромадную комнату, а в ней постеля, столы, табуреточки — всё из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок тёмно-красный под чернетью, а на ём цветки медны.

— Посидим, — говорит, — тут, поговорим.

Сели это они на табуреточки, малахитница и спрашивает:

— Видал моё приданое?

— Видал, — говорит Степан.

— Ну, как теперь насчёт женитьбы?

А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышь-ко, невеста была. Хорошая девушка, си-

ротка одна. Ну, конечно, против малахитницы где же ей красотой равняться! Простой человек, обыкновенный. Помялся-помялся Степан, да и говорит:

— Приданое у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой.

— Ты, — говорит, — друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берёшь меня замуж али нет? — И сама вовсе принахмурилась.

Ну, Степан и ответил напрямки:

— Не могу, потому другой обещался.

Молвил так-то и думает: огневается теперь. А она вроде обрадовалась.

— Молодец, — говорит, — Степанушко. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменну девку. — А у парня, верно, невесту-то Настей звали. — Вот, — говорит, — тебе подарочек для твоей невесты — и подаёт большую малахитову шкатулку. А там, слышь-ко, всякий женский прибор. Серьги, кольца и протча, что даже не у всякой богатой невесты бывает.

— Как же, — спрашивает парень, — я с эким местом наверх подымусь?

— Об этом не печалься. Всё будет устроено, и

от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой, только вот тебе мой сказ — обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе моё испытание будет. А теперь давай поешь маленько.

Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки — полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и протчим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит:

— Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне. — А у самой слёзы. Она это руку подставила, а слёзы кап-кап и на руке зёрнышками застывают. Полнёхонька горсть. — На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь. — И подаёт ему.

Камешки холодные, а рука, слышь-ко, горячая, как есть живая, и трясётся маленько.

Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает:

— Куда мне идти? — А сам тоже невесёлый стал. Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днём. Пошёл Степан по этой штольне — опять всяких земельных богатств нагляделся и пришёл как раз

к своему забою. Пришёл, штольня и закрылась, и всё стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала, Степан и спрятал её за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошёл. Посмеяться ладил, а видит — у Степана поверх урока наворочено, и малахит отбор, сорт сортом. «Что, — думает, — за штука? Откуда это?» Полез в забой, осмотрел всё, да и говорит:

— В эком-то забое всяк сколь хошь наломает. — И повёл Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил.

На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да ещё королёк с витком попадать стали, а у того — у племянника-то, — скажи на милость, ничего доброго нет, всё обальчик да обманка идёт.



Тут надзиратель и сметил дело. Побежал к приказчику. Так и так.

— Не иначе, — говорит, — Степан душу нечистой силе продал.

Приказчик на это и говорит:

— Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пущай только малахитовую глыбу во сто пуд найдёт.

Велел всё ж таки приказчик расковать Степана и приказ такой дал — на Красногорке работы прекратить.

— Кто, — говорит, — его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча.

Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил:

— Кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли — это уж как счастье моё подойдёт.

Вскорости нашёл им Степан глыбу такую. Выволокли её наверх. Гордятся — вот-де мы какие, а Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот и приехал из самого, слышь-ко, Сам-Петербурху. Узнал, как дело было, и зовёт к себе Степана.

— Вот что, — говорит, — даю тебе своё дворянское слово отпустить тебя на волю, если ты

мне найдёшь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не меньше пяти сажен долиной.

Степан отвечает:

— Меня уж раз оплели. Учёный я ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет — увидим.

Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно своё:

— Чуть было не забыл — невесте моей тоже вольную пропиши, а то что это за порядок — сам буду вольный, а жена в крепости.

Барин видит — парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу.

— На, — говорит, — только старайся смотри.

А Степан всё своё:

— Это уж как счастье поищет.

Нашёл, конечно, Степан. Что ему, коли он всё нутро горы вызнал и сама Хозяйка ему пособляла. Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашёл, и посейчас в нашем городу, говорят. Как редкость её берегут.

С той поры Степан на волю вышел, а в Гумёш-

ках после того всё богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идёт, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушёл, вода долить стала. Так с той поры Гумёшки на убыль и пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это Хозяйка огневалась за столбы-то, слышь-ко, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему.

Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завёл, дом обстроил, всё как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невесёлый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял.

Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всё, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушёл так-то да и с концом. Вот его нет, вот его нет… Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышь-ко, на руднике у высокого камня мёртвый лежит, ровно улыбается, и ружьишечко у него тут же в сторонке валяется, не стрелено из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зелёную видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слёзы у ей так и

каплют. Как люди ближе подбежали — она на камень, только её и видели. А как покойника домой привезли да обмывать стали — глядят: у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из неё зёрнышки зелёненькие. Полнёхонька горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зёрнышки и говорит:

— Да ведь это медный изумруд! Редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?

Настасья — жена-то его — объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда ещё женихом был. Большую шкатулку, малахитову. Много в ей добренького, а таких камешков нету. Не видывала.

Стали те камешки из мёртвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слёзы Хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышь-ко, никому, тайно от своих сохранял, с ними и смерть принял. А?

Вот она, значит, какая Медной горы Хозяйка!

Худому с ней встретиться — горе, и доброму

— радости мало.



Малахитовая шкатулка



У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. Сама Хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он ещё жениться собирался.

Настасья в сиротстве росла, не привыкла к экому-то богатству, да и не шибко любительница была моду выводить.

С первых годов, как жили со Степаном, надёвывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо… Ровно как раз впору, не жмёт, не скатывается, а пойдёт в церкву или в гости куда — замается. Как закованный палец-от, в конце нали[2] посинеет. Серьги навесит — хуже того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять — не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в шесть ли

---

[2] Примечания: 2
Нали — даже.

семь рядов только раз и примерила. Как лёд кругом шеи-то и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было.

— Ишь, скажут, какая царица в Полевой выискалась!

Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал:

— Убери-ко куда от греха подальше.

Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и протча про запас держат.

Как Степан умер да камешки у него в мёртвой руке оказались, Настасье и причтелось ту шкатулку чужим людям показать.

А тот знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул:

— Ты, гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших тысяч она стоит.

Он, этот человек-от, учёной был, тоже из вольных. Ране-то в щегарях ходил, да его отстранили: ослабу-де народу даёт. Ну, и винцом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойна головушка. А так во всём правильный. Прошенье написать, пробу смыть, знаки оглядеть — всё по совести делал,

не как иные протчие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесёт стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался.

Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь[3] правильный и в делах смышлёный, даром что к винишку пристрастье поимел. Ну, и послушалась его.

— Ладно, — говорит, — поберегу на чёрный день. — И поставила шкатулку на старо место.

Схоронили Степана, сорочины отправили честь честью. Настасья — баба в соку да и с достатком, стали к ней присватываться. А она женщина умная, говорит всем одно:

— Хоть золотой второй, а всё робятам вотчим.

Ну, отстали по времени.

Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведенье полное. Настасья — баба работящая, робятишки пословные, не охтимнеченьки живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели всё ж таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управить! Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье в

---

[3] Примечания: 3
Щегарь — горный мастер.

уши напевать:

— Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте добру лежать. Всё едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьём[4] не наденешь эко место. А люди деньги бы дали. Разоставок тебе.

Однем словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости, налетел. Из купцов все. Кто сто рублей даёт, кто двести.

— Робят-де твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождение тебе делаем.

Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали.

Настасья хорошо запомнила, что́ ей старый щегарь говорил, не продаёт за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того девчоночка у ней младшенькая слезами улилась, просит:

— Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги.

От Степана, вишь, осталось трое робятишек-то. Двое парнишечки. Робята как робята, а эта, как говорится, ни в мать, ни в отца. Ещё при Сте-

---

[4] Примечания: 4
Ремьё — обноски, отрепья.

пановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили:

— Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей выпала. В кого только зародилась! Сама чёрненька да басенька, а глазки зелёненьки. На наших девчонок будто и вовсе не походит.

Степан пошутит, бывало:

— Это не диво, что чёрненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался. А что глазки зелёные — тоже дивить не приходится. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот памятка мне и осталась.

Так эту девчоночку Памяткой и звал. «Ну-ка ты, Памятка моя!» И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зелёного принесёт.

Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала — далеко её видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей — Танюшка да Танюшка. Самые завидущие бабёшки, и те любовались. Ну, как, — красота! Всякому мило. Одна мать повздыхивала:

— Красота-то красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку.

По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову — пущай-де позабавится. Хоть маленькая, а девчоночка, — с малых лет им лестно на себя-то навздевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво — которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное и не знала к чему, а эта всё знает. Да ещё говорит:

— Мамонька, сколь хорошо тятино-то подареньe! Тепло от него, будто на пригревинке сидишь, да ещё кто тебя мягким гладит.

Настасья сама на́шивала, помнит, как у неё пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: «Неспроста это. Ой, неспроста!» — да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит:

— Мамонька, дай поиграть тятиным подареньем!

Настасья когда и пристрожит, ну, материнско сердце — пожалеет, достанет шкатулку, только накажет:

— Не изломай чего!

Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими

парнишечками на покос или ещё куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, скатёрку стряхнуть, в избе-сенях веничком подмахнуть, куричёшкам корму дать, в печке поглядеть. Справит всё поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот лёгонький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любуется, на себя примеряет.



Раз к ней и забрался хитник. То ли он в ограде спозаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез, только из суседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу видать — кто-то навёл его, весь порядок обсказал.

Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу: поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась — на пороге мужик незнакомый, с топором. И топор-то ихний. В сенках, в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит:

— Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! — а сам глаза трёт.

Танюшка видит — неладно с человеком, стала спрашивать:

— Ты как, дяденька, к нам зашёл, пошто топор взял?

А тот знай стонет да глаза свои трёт. Танюшка его и пожалела — зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной

к двери.

— Ой, не подходи! — Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход — выбежала через окошко и к суседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем? Тот промигался маленько, объясняет — проходящий-де, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось.

— Как солнцем ударило. Думал — вовсе ослепну. От жары, что ли.

Про топор и камешки Танюшка суседям не сказала. Те и думают: «Пустяшно дело. Может, сама же забыла ворота запереть, вот проходящий и зашёл, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает».

До Настасьи всё ж таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что суседям рассказывал. Настасья видит — всё в сохранности, вязаться не стала. Ушёл тот человек, и суседи тоже.

Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шкатулкой приходил, да взять-то её, видно, непросто. А сама думает: «Оберегать-то её всё ж таки покрепче надо».

Взяла да потихоньку от Танюшки и других робят и зарыла ту шкатулку в голбец.

Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулки, а её быть бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом её опахнуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась — не пожар ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела — только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит — шкатулка. Открыла, а камни-то ровно ещё краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке.

Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут, в голбце, и наигралась досыта.

Так с той поры и повелось. Мать думает: «Вот хорошо спрятала, никто не знает», — а дочь, как домовничать, так и урвёт часок поиграть дорогим отцовским подареньем. Насчёт продажи Настасья и говорить родне не давала.

— По миру впору придёт — тогда продам.

Хоть круто ей приходилось — а укрепилась. Так ещё сколько-то годов перемогались, дальше на поправу пошло. Старшие робята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышь-ко, научилась шелками да

бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали — откуда узоры берёт, где шелка достаёт?

А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая, в Настасьиных уж годах, а востроглазая и, по всему видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черёмуховый бадожок, вроде как странница. Просится у Настасьи:

— Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денёк-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти неблизко.

Настасья сперва подумала, не подослана ли опять за шкатулкой, потом всё ж таки пустила.

— Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с собой не унесёшь. Только вот кусок-от у нас сиротский. Утром лучок с кваском, вечером квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи сколь надо.

А странница уж бадожок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала.

«Ишь, неочесливая! Приветить её не успели, а она на-ко — обутки сняла и котомку развязала».

Женщина и верно котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку:

— Иди-ко, дитятко, погляди на моё рукоделье.

Коли поглянется, и тебя выучу… Видать, цепкий глазок-от на это будет!

Танюшка подошла, а женщина и подаёт ей ширинку маленькую, концы шёлком шиты. И такой-то, слышь-ко, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало.

Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается.

— Поглянулось, знать, доченька, моё рукодельице? Хочешь — выучу?

— Хочу, — говорит.

Настасья так и взъелась:

— И думать забудь! Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить! Припасы-то, поди-ко, денег стоят.

— Про то не беспокойся, хозяюшка, — говорит странница. — Будет понятие у доченьки — будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей — надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Не даром работу отдаём. Кусок имеем.

Тут Настасье уступить пришлось.

— Коли припасов уделишь, так о чём не поучиться. Пущай поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу.

Вот эта женщина и занялась Танюшку учить.

Скорёхонько Танюшка всё переняла, будто раньше которое знала. Да вот ещё что. Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнёт, так и льнёт. Настасья скоса запоглядывала:

«Нашла себе новую родню. К матери не подойдёт, а к бродяжке прилипла!»

А та ещё ровно дразнит, всё Танюшку дитятком да доченькой зовёт, а крещёное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того, слышь-ко, вверилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то!

— Есть, — говорит, — у нас дорогая тятина памятка — шкатулка малахитова. Вот где каменья! Век бы на них глядела.

— Мне покажешь, доченька? — спрашивает женщина.

Танюшка даже не подумала, что это неладно.

— Покажу, — говорит, — когда дома никого из семейных не будет.

Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько, да и говорит:

— Надень-ко на себя — виднее будет.

Ну, Танюшка, — не того слова, — стала надевать, а та знай похваливает.

— Ладно, доченька, ладно! Капельку только поправить надо.

Подошла поближе, да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет — тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное нет. После этого женщина и говорит:

— Встань-ко, доченька, пряменько.

Танюшка встала, а женщина и давай её потихоньку гладить по волосам, по спине. Всю огладила, а сама наставляет:

— Заставлю тебя повернуться, так ты, смотри, на меня не оглядывайся. Вперёд гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся!

Повернулась Танюшка — перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церква, не то что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошёл. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы, как ночь, а глаза зелёные. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зелёного

бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинках. На чём только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть, а эта зеленоглазая стоит себе спокойнёшенько, будто так и надо. Народу в том помещенье полно. По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой! Ни одна в подмётки не годится.



В ряд с зеленоглазой какой-то белобрысенький. Глаза враскос, уши пенёчками, как есть заяц. А одёжа на нём — уму помраченье. Этому золота-то мало показалось, так он, слышь-ко, на обую камни насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лет один такой найдут. Сразу видать — заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазой-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет.

Танюшка глядит на эту барыню, дивится на неё и только тут заметила:

— Ведь каменья-то на ней тятины! — сойкала Танюшка, и ничего не стало.

А женщина та посмеивается:

— Не доглядела, доченька! Не тужи, по времени доглядишь.

Танюшка, конечно, доспрашивается — где это такое помещенье?

— А это, — говорит, — царский дворец. Та самая палата, коя здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то.

— А это кто в тятиных уборах и какой это с ней заяц?

— Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь.

В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с

шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана.

Подаёт её Танюшке, да и говорит:

— Прими-ко, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе либо трудный случай подойдёт, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и будет.

Сказала так-то и ушла. Только её и видели.

С той вот поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни о Настасьины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, неласковая она, невесёлая, да и за крепостного где же вольная пойдёт? Кому охота петлю надевать?

В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то её. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца. Тогда её обратать можно. Толку всё ж таки не выходило. Скажет Танюшка что по делу, а другие разговоры того лакея безо внимания. Надоест, так ещё надсмешку подстроит:

— Ступай-ко, любезный, ступай! Ждут ведь. Боятся, поди, как бы у тебя часы пóтом не изошли

и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как ты их мозолишь.

Ну, лакею или другому барскому служке эти слова, как собаке кипяток. Бежит как ошпаренный, фырчит про себя:

— Разве это девка? Статуй каменный, зеленоглазый! Такую ли найдём!

Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как приворожённого к тому месту тянет — хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит.

Суседки уж стали Настасью корить:

— Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет аль в Христовы невесты ладится?

Настасья на эти покоры только вздыхает:

— Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудрёная была, а колдунья эта проходящая вконец её извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка

переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу. Налупила бы девку, да, вишь, она у нас старательница. Почитай, её работой только и живём. Думаю-думаю так-то, да и зареву. Ну, тогда она скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю и на игрища не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого сделала?» Вот и ответь ей!

Ну, жить всё ж таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе аль в нашем городе, по другим местам про него узнали, заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заробить.

Только тут беда их и пристигла — пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяка — всё сгорело. С тем только и остались, в чём выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит:

— Видно, край пришёл — придётся продать шкатулку.

Сыновья в один голос:

— Продавай, мамонька. Не продешеви только.

Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит — пущай продают. Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Всё равно уйдёт отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит:

— Продавать так продавать. — И даже не стала на прощанье те камни глядеть. И то сказать — у суседей приютились, где тут раскладываться.

Придумали так — продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог-от подстроил, чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то — ноготок, доцарапается! Видят робята подросли — больше дают. Пятьсот там, семьсот, один до тысячи дошёл. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила всё ж таки две тысячи. Ходят, значит, к ней, рядятся. Накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок-от такой — ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в Полевую и приехал новый приказчик.

Когда ведь они — приказчики-то — подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душно́го козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовско за вонь отставил. Потом был Жареной Зад. Рабочие его на болванку поса-

дили. Тут заступил Северьян Убойца. Этого опять Хозяйка Медной горы в пусту породу перекинула. Там ещё двое ли, трое каких-то были, а потом и приехал этот.

Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно — пороть. Свысока так, с растяжкой — па-роть. О какой недостаче ему заговорят, одно кричит: па-роть! Его Паротей и прозвали.

На деле этот Паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну не гонял.

Тамошним охлёстышам вовсе и дела не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пароте.

Тут, вишь, штука-то в чём. Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко всё ж таки. Что новые сватовья скажут?

Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину — сынову-то полюбовницу — за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Робятишек на музыках обучал и так разговору чужестранному, как ведётся по ихнему положению.

— Чем, — говорит, — тебе так-то жить на худой славе, выходи-ко ты замуж. Приданым тебя оделю, а мужа приказчиком в Полевую пошлю. Там дело направлено, пущай только построже народ держит. Хватит, поди, на это толку, что хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего проживёшь в Полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почёт тебе, уважение от всякого. Чем плохо?

Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела.

— Давно, — говорит, — об этом мечтанье имела, да сказать не насмелилась.

Ну, музыкант, конечно, сперва упёрся:

— Не желаю, — шибко про неё худа слава, потаскуха вроде.

Только барин — старичонко хитрой. Недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул чем, али улестил, либо подпоил — их-нее дело, только вскорости свадьбу справили, и молодые поехали в Полевую. Так вот Паротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так — что зря говорить — человек не вредный.

Потом, как Полторы Хари вместо его заступил — из своих заводских, так жалели даже этого

Паротю.

Приехал с женой Паротя как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Паротина баба тоже видная была. Белая да румяная — однем словом, полюбовница. Небось худу-то бы не взял барин. Тоже, поди, выбирал! Вот эта Паротина жена и прослышала — шкатулку продают. «Дай-ко, — думает, — посмотрю, может, всамделе стоющее что». Живёхонько срядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы!

— Ну-ко, — говорит, — милая, покажи, какие-такие камешки продаёшь?

Настасья достала шкатулку, показывает. У Паротиной бабы и глаза забегали. Она, слышь-ко, в Сам-Петербурхе воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. «Что же это, — думает, — такое? У самой царицы эдаких украшениев нет, а тут на-ко — в Полевой, у погорельцев! Как бы только не сорвалась покупочка».



— Сколько, — спрашивает, — просишь?

Настасья говорит:

— Две бы тысячи охота взять.

Барыня порядилась для прилику, да и говорит:

— Ну, милая, собирайся! Поедем ко мне со шкатулкой. Там деньги сполна получишь.

Настасья, однако, на это не подалась.

— У нас, — говорит, — такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесёшь деньги — шкатулка твоя.

Барыня видит — вон какая женщина, — живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает:

— Ты уж, милая, не продавай шкатулку.

Настасья отвечает:

— Это будь в надежде. От своего слова не отопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля.

Уехала Паротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они, вишь, следили. Спрашивают:

— Ну, как?

— Запродала, — отвечает Настасья.

— За сколь?

— За две, как назначила.

— Что ты, — кричат, — ума решилась али что? В чужие руки отдаёшь, а своим отказываешь! — И давай-ко цену набавлять.

Ну, Настасья на эту удочку не клюнула.

— Это, — говорит, — вам привышно дело в словах вертеться, а мне не доводилось. Обнадёжила женщину, и разговору конец!

Паротина баба крутёхонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, вишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без неё была. Видит — барыня какая-то и со шкатулкой. Уставилась на неё Танюшка — дескать, не та ведь, какую тогда видела. А Паротина жена пуще того воззрилась.

— Что за наваждение? Чья такая? — спрашивает.

— Дочерью люди зовут, — отвечает Настасья. — Самая как есть наследница шкатулки-то, кою ты купила. Не продала бы, кабы не край пришёл. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает — как-де от них тепло да хорошо. Да что об этом говорить! Что с возу пало — то пропало!

— Напрасно, милая, так думаешь, — говорит Паротина баба. — Найду я местичко этим каменьям. — А про себя думает: «Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Сам-Петербурхе, царями бы вертела. Надо — мой-то дурачок Турчанинов её не увидал».

С тем и разошлись.

Паротина жена, как приехала домой, похвасталась:

— Теперь, друг любезный, я не то что тобой, и Турчаниновым не понуждаюсь. Чуть что — до свиданья! Уеду в Сам-Петербурх либо, того лучше, в заграницу, продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится.

Похвасталась, а показать на себе новокупку всё ж таки охота. Ну, как — женщина! Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила. — Ой, ой, что такое! — Терпенья нет — крутит и дерёт волосы-то. Еле выпростала. А неймётся. Серьги надела — чуть мочки не разорвало. Палец в перстень сунула — заковало, еле с мылом стащила. Муж посмеивается: не таким, видно, носить!

А она думает: «Что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы камни не подменил».

Сказано — сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надёжный мастер — и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого

куплено. Барыня рассказала, что знала. Оглядел ещё раз мастер шкатулку, а на камни и не взглянул даже.

— Не возьмусь, — говорит, — что хошь давайте. Не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться.

Барыня, конечно, не поняла, в чём тут закорючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились: оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла, говорит, что эту шкатулку из Сам-Петербурху привезла. Там всё и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся.

— Знаю, — говорит, — в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного кого тот мастер подгоняет, другому не подойдёт, что хошь делай.

Барыня и тут не поняла всего-то, только то и уразумела — неладно дело, боятся кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать.

«Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то!»

Потом опять переводит в уме:

«Да мне-то что! Продам какой ни есть богатой дуре. Пущай мается, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в Полевую.

Приехала, а там новость: весточку получили — старый барин приказал долго жить. Хитренько с Паротей-то он устроил, а смерть его перехитрила — взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время Паротина жена получила писёмышко. Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим. Паротя про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что — жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рады стараться на даровщинку-то. Вот раз пировали. Кто-то из этих запивох и похвастай:

— Выросла-де у нас в заводе красавица, другую такую не скоро сыщешь.

Паротя и спрашивает:

— Чья такая? В котором месте живёт?

Ну, ему рассказали и про шкатулку помянули — в этой-де семье ваша жена шкатулку покупала.

Паротя и говорит:

— Поглядеть бы.

А у запивох и заделье нашлось:

— Хоть сейчас пойдём — освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно.

Пошли двое ли, трое с этим Паротей. Цепь притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу, выходят ли вершки меж столбами. Подыскиваются, однем словом. Потом заходят в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на неё Паротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит как дурак, а она сидит — помалкивает, будто её дело не касается. Потом отошёл малость Паротя, стал спрашивать:

— Что поделываете?

Танюшка говорит:

— По заказу шью, — и работу свою показала.

— Мне, — говорит Паротя, — можно заказ сделать?

— Отчего же нет, коли в цене сойдёмся.

— Можете, — спрашивает опять Паротя, — мне с себя патрет шелками вышить?

Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазая ей знак подаёт — бери-де заказ! — и на себя пальцем указывает.

Танюшка и отвечает:

— Свой патрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих каменьях, в царицыном платье, эту вышить могу. Только недёшево будет стоить такая работа.

— Об этом, — говорит, — не сумлевайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была.

— В лице, — отвечает, — сходственность будет, а одёжа другая.

Срядились за сто рублей. Танюшка и срок назначила — через месяц. Только Паротя нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обахмурило его, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова, и весь разговор. Запивохи-то Паротины подсмеиваться над ним стали:

— Тут-де не отломится. Зря сапоги треплешь!

Ну, вот, вышила Танюшка тот патрет. Глядит Паротя — фу ты, боже мой! да ведь это она самая и есть, одёжей да каменьями изукрашенная! Подаёт, конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла.

— Не привышны, — говорит, — мы подарки-то принимать. Трудами кормимся.

Прибежал Паротя домой, любуется на патрет, а

от жены впотай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало-мало начал.

Весной приехал на заводы молодой барин. В Полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме тонцы-звонцы пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили — помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все Турчаниновы мастера были. Как зальёшь господскую чарку десятком своих, так и невесть какой праздник покажется, а на поверку выйдет — последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько да опять за гулянку. Ну, там, на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Паротя всё время пьяной. Нарочно к нему барин самых залихватских питухов поставил — накачивай-де до отказу! Ну, те и стараются новому барину подслужиться.

Паротя хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко. Он и говорит за столом, при всех:

— Это мне безо внимания, что барин Турчанинов хочет у меня жену увезти. Пущай повезёт! Мне такую не надо. У меня вот кто есть! — Да и

достаёт из кармана тот шёлковый патрет. Все так и ахнули, а Паротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами-то. Любопытно ему стало.

— Кто такая? — спрашивает.

Паротя знай похохатывает:

— Полон стол золота насыпь — и то не скажу!

Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали? Одни перед другим стараются — барину объясняют. Паротина баба руками-ногами:

— Что вы! Что вы! Околесицу этаку городите! Откуда у заводской девки платье такое да ещё каменья дорогие? А патрет этот муж из-за границы привёз. Ещё до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз мало ли что сплетёт. Себя скоро помнить не будет. Ишь опух весь!

Паротя видит, что жене шибко не мило, он и давай чехвостить:

— Страмина ты, страмина! Что ты косоплётки плетёшь, барину в глаза песком бросашь! Какой я тебе патрет показывал? Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчёт платья — лгать не буду — не знаю. Платье какое хошь надеть можно. А камни у них были. Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купи-

ла за две тысячи, да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасско седло. Весь завод про покупку-то знает!

Барин как услышал про камни, так сейчас же:

— Ну-ко, покажи!

Он, слышь-ко, малоумненький был, мотоватый. Однем словом, наследник. К камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, — как говорится, ни росту, ни голосу, — так хоть каменьями. Где ни прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром что не шибко умный.

Паротина баба видит — делать нечего, — принесла шкатулку.

Барин взглянул и сразу:

— Сколько?

Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядиться. На половине сошлись, и заёмную бумагу барин подписал: не было, вишь, денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит:

— Позовите-ко эту девку, про которую разговор.

Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла — думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно и посредине тот са-

мый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка — отцово подаренье. Танюшка сразу признала барина и спрашивает:

— Зачем звали?

Барин и слова сказать не может. Уставился на неё, да и всё.

Потом всё ж таки нашёл разговор:

— Ваши камни?

— Были наши, теперь вон ихние, — и показала на Паротину жену.

— Мои теперь, — похвалился барин.

— Это дело ваше.

— А хошь, подарю обратно?

— Отдаривать нечем.

— Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся.

— Это, — отвечает Танюшка, — можно.

Взяла шкатулку, разобрала уборы, — привычно дело, и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. Ах да ах, больше и речей нет. Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает:

— Поглядели? Будет? Мне ведь не от простой поры тут стоять — работа есть.

Барин тут при всех и говорит:

— Выходи за меня замуж. Согласна?

Танюшка только усмехнулась:

— Не под стать бы ровно барину такое говорить. — Сняла уборы и ушла. Только барин не отстаёт. На другой день свататься приехал. Просит-молит Настасью-то: отдай за меня дочь.

Настасья говорит:

— Я с неё воли не снимаю, как она хочет, а по-моему — будто не подходит.

Танюшка слушала-слушала, да и молвит:

— Вот что, не то… Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь — тогда выйду за тебя замуж.

Барин, конечно, на всё согласен. Сейчас же в Сам-Петербурх стал собираться и Танюшку с собой зовёт — лошадей, говорит, тебе предоставлю. А Танюшка отвечает:

— По нашему-то обряду и к венцу на женихових лошадях невеста не ездит, а мы ведь ещё никто. Потом уж об этом говорить будем, как ты своё обещанье выполнишь.

— Когда же, — спрашивает, — ты в Сам-Петербурхе будешь?

— К Покрову, — говорит, — непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда.

Барин уехал, Паротину жену, конечно, не взял,

не глядит даже на неё. Как домой в Сам-Петербурх-от приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навёз, обую, а она весточку и прислала, — тут она, живёт у такой-то вдовы на самой окраине.

Барин, конечно, сейчас же туда:

— Что вы! Мысленное ли дело тут проживать? Квартерка приготовлена, первый сорт!

А Танюшка отвечает:

— Мне и тут хорошо.

Слух про каменья да турчаниновску невесту и до царицы дошёл. Она и говорит:

— Пущай-ко Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то много про неё врут.

Барин к Танюшке — дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы во дворец можно, камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает:

— О наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержанье. Да смотри не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то.

Барин думает — откуда у ней лошади? где пла-

тье дворцовское? — а спрашивать всё ж таки не насмелился.

Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчанинов-барин спозаранку у крыльца вертится — невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на неё поглядеть — тут же остановились. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком позаводски, шубейку свою накинула и идёт себе потихонечку. Ну, народ — откуда такая? — валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают — не дозволено, говорят, заводским-то. Турчанинов-барин издаля Танюшку завидел, только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да ещё в экой шубейке, он взял да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку, лакеи глядят — платье-то! У царицы такого нет! — сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули:

— Чья такая? Каких земель царица?

А барин Турчанинов тут как тут.

— Моя невеста, — говорит.

Танюшка эдак строго на него поглядела:

— Это ещё вперёд поглядим! Пошто ты меня обманул — у крылечка не дождался?

Барин туда-сюда — оплошка-де вышла. Извини,

пожалуйста.

Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка — не то место. Ещё строже спросила Турчанинова-барина:

— Это ещё что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана! — И пошла по дворцу-то, как дома. А сенаторы, генералы и протчи за ней.

— Что, дескать, такое? Видно, туда велено.

Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждёт.

Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещенье царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнёшенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет.

Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит — никого нет. Царицыны наушницы и доводят — турчаниновска невеста всех в малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, — что за самовольство! Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит — не шевельнётся.



Царица и кричит:

— Ну-ко, показывайте мне эту самовольницу — турчаниновску невесту!

Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:

— Это ещё что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!

С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки.

Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали.

Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчанинову:

— Подбери хоть камни-то! Живо разворуют. Не како-нибудь место — дворец! Тут цену знают!

Турчанинов и давай хватать те каменья. Какой схватит, тот у него и свернётся в капельку. Ина капля чистая, как вот слеза, ина жёлтая, а то опять, как кровь, густая. Так ничего и не собрал. Глядит — на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла, на простую грань. Вовсе пустяковая.

С горя он и хватил её. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет-заливается:

— Эх ты, полоумный косой заяц! Тебе ли меня взять! Разве ты мне пара?

Барин после этого и последний умишко потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет и поглядит в неё, а там всё одно: стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай-ко пировать, долгов наделал, чуть при нём наши-то заводы с молотка не пошли.

А Паротя, как его отстранили, по кабакам пошёл. До ремков пропился, а патрет тот шёлковый берёг. Куда этот патрет потом девался — никому не известно. Не поживилась и Паротина жена: поди-ко, получи по заёмной бумаге, коли всё железо и медь заложены!

Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху ни духу. Как не было. Погоревала, конечно, Настасья, да тоже не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть радетельница для семьи была, а всё Настасье как чужая.

И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли. Женились оба. Внучата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай поворачивайся — за

тем догляди, другому подай… До скуки ли тут!

Холостяжник — тот дольше не забывал. Всё под Настасьиными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка, да так и не дождались.

Потом, конечно, оженились, а нет-нет и помянут:

— Вот-де какая у нас в заводе девка была! Другой такой в жизни не увидишь.

Да ещё после этого случаю заметочка вышла. Сказывали, будто Хозяйка Медной горы двоиться стала: сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.



Две ящерки



Нашу-то Полевую, сказывают, казна[5] ставила. Никаких ещё заводов тогда в здешних местах не было. С боем шли. Ну, казна, известно. Солдат послали. Деревню-то Горный Щит нарочно построили, чтоб дорога без опаски была. На Гумёшках, видишь, в ту пору видимое богатство поверху лежало, — к нему и подбирались. Добрались, конечно. Народу нагнали, завод установили, немцев каких-то навезли, а не пошло дело. Не пошло и не пошло. То ли немцы показать не хотели, то ли сами не знали — не могу объяснить, только Гумёшки-то у них безо внимания оказались. С другого рудника брали, а он вовсе работы не стоил. Вовсе зряшный рудничишко, тощенький. На таком доброго завода не поставишь. Вот тогда наша Полевая и попала Турчанинову.

До того он — этот Турчанинов — солью про-

---

[5] Примечания: 5
Казна — государственные средства.

мышлял да торговал на строгановских землях и медным делом тоже маленько занимался. Завод у него был. Так себе заводишко. Мало чем от мужичьих самоделок отошёл. В кучах руду-то обжигали, потом варили, переваривали, да ещё хозяину барыш был. Турчанинову, видно, этот барыш поглянулся.

Как услышал, что у казны медный завод плохо идёт, так и подъехал: нельзя ли такой завод получить? Мы, дескать, к медному делу привышны — у нас пойдёт. Демидовы и другие заводчики, кои побогаче да поименитее, ни один не повязался. «У немцев, — думают, — толку не вышло — на что такой завод? Убыток один». Так Турчанинову наш завод и отдали да ещё Сысерть на придачу. Эко-то богатство и вовсе даром!

Приехал Турчанинов в Полевую и мастеров своих привёз. Насулил им, конечно, того-другого. Купец, умел с народом обходиться! Кого хочешь обвести мог.

— Постарайтесь, — говорит, — старички, а уж я вам по гроб жизни…

Ну, ласковый язычок, — напел! Смолоду на этом деле — понаторел! Про немцев тоже ввернул словечко:

— Неуж против их не выдюжите?

Старикам большой охоты переселяться со своих мест не было, а это слово насчёт немцев-то задело. Неохота себя ниже немцев показать. Те ещё сами нос задрали, свысока на наших мастеров глядят, будто и за людей их не считают. Старикам и вовсе обидно стало. Оглядели они завод. Видят, хорошо устроено против ихнего-то. Ну, казна строила. Потом на Гумёшки походили, руду тамошнюю поглядели да и говорят прямо:

— Дураки тут сидели. Из такой-то руды да в этаких печах половина на половину выгнать можно. Только, конечно, соли чтобы безотказно было, как по нашим местам.

Они, слышь-ко, хитрость одну знали — руду с солью варить. На это и надеялись. Турчанинов уверился на своих мастеров и всем немцам отказал:

— Больше ваших нам не требуется.

Немцам что делать, коли хозяин отказал! Стали собираться, кто домой, кто на другие заводы. Только им всё-таки удивительно, как одни мужики управляться с таким делом станут. Немцы и подговорили своих человек трёх из пришлых, кои у немцев при заводе работали.

— Поглядите, — говорят, — нет ли у этих мужиков хитрости какой. На что они надеются — за

такое дело берутся? Коли узнаете, весточку нам подайте, а уж мы вам отплатим.

Один из этих, кого немцы подбивали, добрый парень оказался. Он всё нашим мастерам и рассказал. Ну, мастера тогда и говорят Турчанинову:

— Лучше бы ты всех рабочих на медный завод из наших краев набрал, а то видишь, что выходит. Поставишь незнамого человека, а он, может, от немцев подосланный. Тебе же выгода, чтобы нашу хитрость с медью другие не знали.

Турчанинов, конечно, согласился, да у него ещё и своя хитрость была. Про неё мастерам не сказал, а сам думает: «К руке мне это».

Тогда, видишь, Демидовы и другие заводчики здешние всяких беглых принимали, башкир тоже, староверов там и протча. Эти, дескать, подешевле и ответу за них нет, — что хошь с ними делай. Ну, а Турчанинов по-другому, видно, считал:

— Наберёшь таких-то, с бору да с сосенки, потом не управишься, себе не рад станешь. Беглые народ бывалый: один другого подучать станут. У башкир опять язык свой и вера другая — не углядишь за ними. Переманю-ка лучше из дальних мест зазнамо да перевезу их с семьями. Куда тогда он убежит от семьи-то? Спокойно будет, а как зажму

в руке, так ещё поглядим, у кого выгоды больше закаплет. А беглых да башкир либо ещё каких вовсе и к заводам близко подпускать не надо.

Так оно, слышь-ко, и вышло потом. По нашим заводам, известно, все одного закону. У тагильских вон мне случалось бывать, так у их этих вер-то не пересчитать, а у нас слыхом не слыхали, чтоб кто по какой другой вере ходил. Ну, из других народов тоже нет, окромя начальства. Однем словом, подогнанно.

Тогда те речи плавильных мастеров Турчанинову шибко к сличью пришлись. Он и давай наговаривать:

— Спасибо, старички, что надоумили. Век того не забуду. Всё как есть по вашему наученью устрою. Завод в наших местах прикрою и весь народ сюда перевезу. А вы ещё поглядите каких людей понадёжнее, я их выкуплю, либо на срока заподряжу. Потрудитесь уж, сделайте такую милость, а я вам...

И опять, значит, насулил свыше головы. Не жалко ему! Вином их поит, угощенье поставил, сам за всяко просто пирует с ними, песни поёт, пляшет. Ну, обошёл стариков.

Те приехали домой и давай расхваливать:

— Места привольные, угодья всякие, медь бога-

тимая, заработки, по всему видать, добрые будут. Хозяин простяга. С нами пил-гулял, не гнушался. С таким жить можно.

А турчаниновски служки тут как тут. На те слова людей ловят. Так и набрали народу не то что для медного заводу, а на все работы хватит. Изоброчили больше, а кого и вовсе откупили. Крепость, вишь, была. Продавали людей-то, как вот скот какой.

Мешкать не стали, в то же лето перевезли всех с семьями на новые места — в Полевую нашу. Назад дорогу, конечно, начисто отломили. Не говоря о купленных, оброчным и то обратно податься нельзя. Насчитали им за перевозку столько, что до смерти не выплатишь. А бежать от семьи кто согласен? Своя кровь, жалко. Так и посадил этих людей Турчанинов. Всё едино, как цепью приковал.

Из старых рабочих на медном заводе только того парнюгу оставили, который про немецкую хитрость мастерам сказал. Турчанинов и его хотел в гору загнать, да один мастер усовестил:

— Что ты это! Парень полезное нам сделал. Надо его к делу приспособить — смышлёный, видать.

Потом и спрашивает у парня:

— Ты что при немцах делал?

— Стенбухарем[6], — отвечает, — был.

— Это по-нашему что же будет?

— По-нашему, около пестов ходил, — руду толчи да сеять.

— Это, — говорит мастер, — дело малое — в стенку бухать. А засыпку немецкую знаешь?

— Нет, — отвечает, — не допущали наших. Свой у них был. Наши только подтаскивали, кому сколько велит. По этой подноске я и примечал маленько. Понять было охота. За карнахарем тоже примечать случалось. Это который у них медь чистил, а к плавке вовсе допуску не было.

Мастер послушал-послушал и сказал твёрдое слово:

— Возьму тебя подручным. Учить буду по совести, а ты обратное мне говори, что полезное у немцев видел.

Так этого парня — Андрюхой его звали — при печах и оставили. Он живо к делу приобык и скоро сам не хуже того мастера стал, который его учил-то.

Вот прошло годика два. Вовсе не так в Полевой стало, как при немцах. Меди во много раз больше пошло. Загремели наши Гумёшки. По всей земле

---

[6] Примечания: 6

Стенбухарь — рабочий у толчеи, где дробилась пестами руда (*ред.*)

про них слава прошла. Народу, конечно, большое увеличенье сделалось, и всё из тех краёв, где у Турчанинова раньше заводишко был. У печей полно, а в горе и того больше. У Турчанинова на это большая охота проявилась — деньги-то огребать. Ему сколь хошь подай — находил место. Навидячу богател. На что Строгановы, и тех завидки взяли. Жалобу подали, что Гумёшки на их землях приходятся и Турчанинову зря попали. Надо, дескать, их отобрать да им — Строгановым — отдать. Только Турчанинов в те годы вовсе в силу вошёл. С князьями да сенаторами попросту. Отбился от Строгановых. При деньгах-то долго ли!

Ну, народу, конечно, тяжело приходилось, а мастерам плавильным ещё и обидно, что обманул их.

Сперва, как дело направлялось, мяконько похаживал перед этими мастерами:

— Потерпите, старички! Не вдруг Москва строилась. Вот обладим завод по-хорошему, тогда вам большое облегчение выйдет.

А какое облегченье? Чем дальше, тем хуже да хуже. На руднике вовсе людей насмерть забивают, и у печей начальство лютовать стало. Самолучших мастеров по зубам бьют да ещё при-

говаривают:

— На то не надейтесь, что хитрость с медью показали. Теперь лучше плавень знаем. Скажем вот барину, так он покажет!

Турчанинова тогда уже все барином звали. Барин да барин, имени другого не стало. На завод он вовсе и дорожку забыл. Некогда, вишь, ему, — денег много, считать надо.

Вот мастера, которые подбивали народ переселяться в здешние места, и говорят:

— Надо к самому сходить. Он, конечно, барином стал, а всё-таки обходительный мужик, понимает дело. Не забыл, поди, как с нами пировал? Обскажем ему начистоту.

Вот и пошли всем народом, а их и не допустили.

— Барин, — говорят, — кофею напился и спать лёг. Ступайте-ко на свои места к печам да работайте хорошенько.

Народ зашумел:

— Какой-такой сон не к месту пришёл! Время о полдни, а он спать! Разбуди! Пущай к народу выходит!

На те слова барин и вылетел. Выспался, видно. С ним оборужённых сколько хошь. А подручный тот — Андрюха-то человек молодой, горячий,

не испугался, громче всех кричит, корит барина всяко. В конце концов и говорит:

— Ты про соль-то помнишь? Что бы ты без неё был?

— Как, — отвечает барин, — не помнить! Схватить этого, выпороть да посолить хорошенько! Память крепче будет.

Ну, и других тоже хватать стали, на кого барин указывал. Только он, сказывают, страсть хитрый был — не так распорядился, как казённо начальство. Не зря людей хватал, а со сноровкой: чтоб изъян своему карману не сделать.

На завод хоть не ходил, а через наушников до тонкости про всякого знал, кто чем дышит.

Тех мастеров, кои побойчее да поразговорчивее, всех отхлестали, а которые потишае, — тех не задел. Погрозил только им:

— Глядите у меня! То же вам будет, коли стараться не станете!

Ну, те испугались, за двоих отвечают, за всяким местом глядят — порухи бы не вышло. Только всё-таки людей недохватка — как урону не быть? Стали один по одному старых мастеров принимать, а этого, который Андрюху учил, вовсе в живых не оказалось. Захлестали старика. Вот Андрюху и взяли на его место.

Он сперва ничего — хорошим мастером себя показал. Всех лучше у него дело пошло. Турчаниновски прислужники думают — так и есть, подшучивают ещё над парнем, Солёным его прозвали. Он без обиды к этому. Когда сам пошутит:

— Солёно-то мяско крепче.

Ну вот, так уверились в него, а он тогда исхитрился, да и посадил козлов[7] сразу в две печи. Да так, слышь-ко, ловко заморозил, что крепче нельзя. Со сноровкой сделал. Его, конечно, схватили, да в гору на цепь. Руднишные про Андрюху наслышаны были, всяко старались его вызволить, а не вышло. Стража понаставлена, людей на строгом счету держат… Ну, никак…

Человеку долго ли на цепи здоровье потерять? Хоть кого крепче будь, не выдюжит. Кормёжка, вишь, худая, а воды когда принесут, когда и вовсе нет — пей руднишную! А руднишная для сердца шибко вредная.

Помаялся так-то Андрюха с полгода ли, с год — вовсе из сил выбился. Тень тенью стал, — не с кого работу спрашивать.

---

[7] Примечания: 7

Посадить козла — остудить, «заморозить» чугун или медь. Отвердевшая в печи масса называлась козлом. Удалить её было трудно. Часто приходилось переделывать печь. (переделывать — это практически сломать её до основания, ибо другого способа извлечь огромный слиток затвердевшего металла не существует).

Руднишный надзиратель и тот говорит:

— Погоди, скоро тебе облегченье выйдет. Тут, в случае, и закопаем, без хлопот.

Хоронить, значит, ладится, да и сам Андрюха видит — плохо дело. А молодой, — умирать неохота.

«Эх, — думает, — зря люди про Хозяйку горы сказывают. Будто помогает она. Коли бы такая была, неуж мне не пособила бы? Видела, поди, как человека в горе замордовали. Какая она Хозяйка! Пустое люди плетут, себя тешат».

Подумал так да и свалился, где стоял. Так в руднишную мокреть и мякнулся, только брызнуло. Холодная она — руднишная-то вода, а ему всё равно — не чует. Конец пришёл.

Сколько он пролежал тут — и сам не знает, только тепло ему стало. Лежит будто на травке, ветерком его обдувает, а солнышко так и припекает, так и припекает. Как вот в покосную пору.

Лежит Андрюха, и в голове думка:

«Это мне перед смертью солнышко приснилось».

Только ему всё жарче да жарче. Он и открыл глаза. Себе не поверил сперва. Не в забое он, а на какой-то лесной горушечке. Сосны высоченные, на горушке трава негустая и камешки мелконь-

кие — плитнячок чёрный. Справа у самой руки камень большой, как стена ровный, выше сосен.

Андрюха давай-ко себя руками ощупывать — не спит ли. Камень заденет, травку сорвёт, ноги принялся скоблить — изъедены ведь грязью-то… Выходит, не спит, и грязь самая руднишная, а цепей на ногах нет.

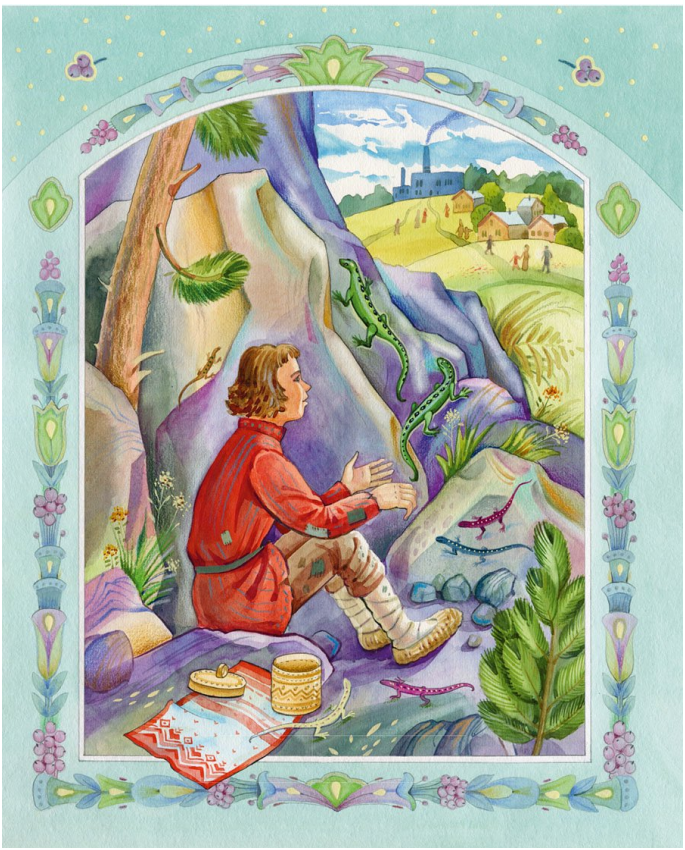
«Видно, — думает, — мертвяком меня выволокли, расковали да и положили тут, а я отлежался. Как теперь быть? В бега кинуться али подождать, что будет? Кто хоть меня в это место притащил?»

Огляделся и видит — у камня туесочек стоит, а на нём хлеб, ломтями нарезанный. Ну, Андрюха и повеселел: «Свои, значит, вытащили и за мёртвого не считали. Вишь хлеба поставили, да ещё с питьём! По потёмкам, поди, навестить придут. Тогда всё и узнаю».

Съел Андрюха хлеб до крошки, из туеска до капельки всё выпил и подивился — не разобрал, что за питьё. Не хмелит будто, а так силы и прибавляет. После еды-то вовсе ему хорошо стало. Век бы с этого места не ушёл. Только то и думает:

«Как дальше? Хорошо, если свои навестят, а вдруг вперёд начальство набежит? Надо оглядеться хоть, в котором это месте. Тоже вот в баню попасть бы? Одежонку какую добыть!»

Однем словом, пришла забота. Известно, живой о живом и думает. Забрался он на камень, видит — тут они, Гумёшки-то, и завод близко, даже людей видно, — как мухи ползают. Андрюхе даже боязно стало — вдруг оттуда его тоже увидят. Слез с камня, сел на старое место, раздумывает, а перед ним ящерки бегают. Много их. Всякого цвету. А две на отличку. Обе зелёные. Одна побольше, другая поменьше.



Вот бегают ящерки. Так и мелькают по траве-то, как ровно играют. Тоже, видно, весело им на солнышке. Загляделся на них Андрюха и не заметил, как облачко набежало. Запокапывало, и ящерки враз попрятались. Только те две зелёные-то не угомонились, всё друг за дружкой бегают и вовсе близко от Андрюхи. Как посильнее дождичек пошёл, и они под камешки спрятались. Сунули головёнки — и нет их. Андрюхе это забавно показалось. Сам-то он от дождя прятаться не стал. Тёплый да, видать, и ненадолго. Андрюха взял и разделся.

«Хоть, — думает, — которую грязь смоет», — и ремки свои под этот дождик разостлал.

Прошёл дождик, опять ящерки появились. Туда-сюда шныряют, и сухоньки все. Ну, а ему холодно стало. К вечеру пошло, — у солнышка сила не та. Андрюха тут и подумал:

«Вот бы человеку так же. Сунулся под камень — тут тебе и дом».

Сам рукой и упёрся в большой камень, с которого на завод и Гумёшки глядел. Не то чтобы в силу упёрся, а так легохонько толкнул в самый низ. Только вдруг камень качнулся, как повалился на него. Андрюха отскочил, а камень опять на место стал.

«Что, — думает, — за диво? Вон какой камень, а еле держится. Чуть меня не задавил».

Подошёл всё ж таки поближе, оглядел камень со всех сторон. Никаких щелей нет, глубоко в землю ушёл. Упёрся руками в одном месте, в другом. Ну скала и скала. Разве она пошевелится.

«Видно, у меня в голове круженье от нездоровья. Почудилось мне», — подумал Андрюха и сел опять на старое место.

Те две ящерки тут же бегают. Одна ткнула головёнкой в том же месте, какое Андрюха сперва задевал, камень и качнулся. По всей стороне щель прошла. Ящерка туда юркнула, и щели не стало. Другая ящерка пробежала до конца камня да тут и притаилась сторожит будто, а сама на Андрюху поглядывает:

— Тут, дескать, выйдет. Некуда больше.

Подождал маленько Андрюха — опять по низу камня чутошная щёлка прошла, потом раздаваться стала. В другом-то конце из-под камня ящерка головёнку высунула, оглядывается, где та — другая-то, а та прижалась, не шевелится. Выскочила ящерка, другая и скок ей на хребетик — поймала, дескать! — и глазёнками блестит, радуется. Потом обе убежали. Только их и видел. Как показали Андрюхе, в котором месте заходить,

в котором выходить.

Оглядел ещё раз камень. Целёхонек он, даже званья нет, чтобы где тут трещинка была.

«Ну-ко, — думает, — попытаю ещё раз».

Упёрся опять в том же месте в камень, он и повалился на Андрюху. Только Андрюха на это безо внимания — вниз глядит. Там лестница открылась, и хорошо, слышь-ко, улаженная, как вот в новом барском доме. Ступил Андрюха на первую ступеньку, а обе ящерки шмыг вперёд, как дорогу показывают. Спустился ещё ступеньки на две, а сам всё за камень держится, думает:

«Отпущусь — закроет меня. Как тогда в потёмках-то?»

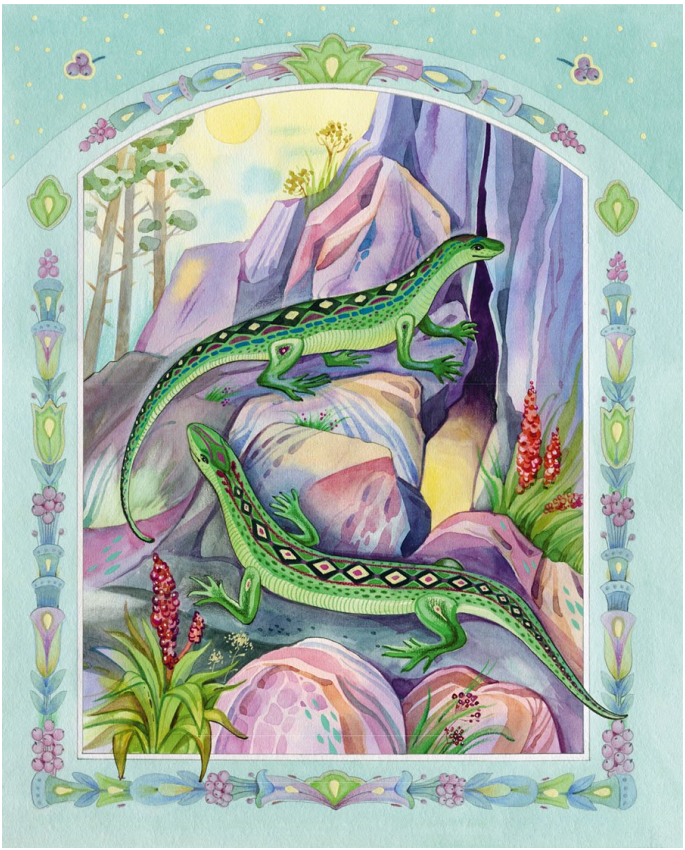
Стоит, и обе ящерки остановились, на него смотрят, будто ждут. Тут Андрюха и смекнул:

«Видно, Хозяйка горы смелость мою пытает. Это, говорят, у ней первое дело».

Ну, тут он и решился. Смело пошёл, и как голова ниже щели пришлась, отпустился рукой от камня. Закрылся камень, а внизу как солнышко взошло — всё до капельки видно стало.

Глядит Андрюха, а перед ним двери створные каменные, все узорами изукрашенные, а вправо-то однополотная дверочка. Ящерки к ней подошли — в это, дескать, место. Андрюха отво-

рил дверку, а там — баня. Честь честью устроена, только всё каменное. Полок там, колода, ковшик и протча. Один веничек берёзовый. И жарко страсть — уши береги. Андрюха обрадовался. Хотел первым делом ремки свои выжарить над каменкой. Только снял их — они куда-то и пропали, как не было. Оглянулся, а по лавкам рубахи новые разложены и одёжи на спицах сколь хошь навешано. Всякая одёжа: барская, купецкая, рабочая. Тут Андрюха и думать не стал, залез на полок и отвёл душеньку — весь веник измочалил. Выпарился лучше нельзя, сел — отдышался. Оделся потом по-рабочему, как ему привычно. Вышел из баньки, а ящерки его у большой двери ждут.



Отворил он — что такое? Палата перед ним, каких он и во сне не видал. Стены-то все каменным узором изукрашены, а посерёдке стол. Всякой еды и питья на нём наставлено. Ну, Андрюха уже давно проголодался. Раздумывать не стал, за стол сел. Еда обыкновенная, питьё не разберёшь. На то походит, какое он из туесочка-то пил. Сильное питьё, а не хмелит.

Наелся-напился Андрюха, как на самом большом празднике либо на свадьбе, ящеркам поклонился:

— На угощенье, хозяюшки!

А они сидят обе на скамеечке высоконькой, головёнками помахивают:

— На здоровье, гостенёк! На здоровье!

Потом одна ящерка — поменьше-то — соскочила со скамеечки и побежала. Андрюха за ней пошёл. Подбежала она ко кровати, остановилась — ложись, дескать, спать теперь! Кровать до того убранная, что и задеть-то её боязно. Ну, всё-таки Андрюха насмелился. Лёг на кровати и сразу уснул. Тут и свет потух.

А на Гумёшках тем временем руднишный надзиратель переполошился. Заглянул утром в забой, — жив ли прикованный, — а там одна цепь. Забеспокоился надзиратель, запобегивал:

— Куда девался? Как теперь быть?

Пометался-пометался, никаких знаков нет, и на кого подумать — не знает. Сказать начальству боится — самому отвечать придётся. Скажут — плохо глядел. Вот этот руднишный надзиратель и придумал обрушить кровлю над тем местом. Не шибко это просто, а исхитрился всё-таки, — кое с боков подгрёб, кое сверху наковырял. Тогда и по начальству сказал. Начальство, видно, не крепко в деле понимало, поверило.

— И то, — говорит, — обвал. Вишь, как его задавило, чуть цепь видно.

Надзиратель, конечно, поёт:

— Отрывать тут не к чему. Кровля вон какая ненадёжная, руды настоящей давно нет, а мёртвому не всё ли равно, где лежать.

Руднишные видели, конечно, — подстроено тут, а молчали.

«Отмаялся, — думают, — человек. Чем ему поможешь?»

Так начальство и барину сказало:

— Задавило, дескать, того, Солёного-то, который нарочно в печи козлов посадил.

Барин и тут свою выгоду не забыл:

— Это, — говорит, — его сам бог наказал. Надо про эту штуку попам сказать. Пущай народ на-

ставляют, как барину супротивничать.

Попы и зашумели. Весь народ про Андрюху узнал, что его кровлей задавило. Пожалели, конечно:

— Хороший парень был. Немного таких осталось.

А он что? После бани-то спит да спит. Тепло ему, мягко. День проспал, два проспал, на другой бок перевернулся да пуще того. Выспался всё-таки и вовсе здоровый стал, будто не хворал и в руднике не бывал. Глядит — стол опять полнёхонек, и обе ящерки на скамейке сидят, поглядывают.

Наелся, напился Андрюха, ящеркам поклонился да и говорит:

— Теперь не худо бы барину Турчанинову за соль спасибо сказать. Подарочек сделать, чтоб до слёз чихнул.

Одна ящерка — поменьше-то — сейчас соскочила со скамейки и побежала. Андрюха за ней. Привела его ящерка к другой двери. Отворил, а там тоже лестница, в потолок идёт. На потолке скобочка медная, как ручка. Андрюха, понятно, догадался, к чему она. Поднялся по лестнице, повёл эту скобочку, выход и открылся. Вышел Андрюха на горушечку, а время, глядит, к вечеру — солнышко на закате.

«Это, — думает, — мне и надо. Схожу по потёмкам на рудник. Может, повидаю кого, узнаю, как у них там и в заводе что».

Пошёл потихоньку. Сторожится, конечно, как бы его не увидели, кому не надо. Подобрался к руднику, за вересовым кустом притаился. Людей у руды много, а подходящего случаю не выходит. Либо грудками копошатся, либо не те люди. Тёмненько уж стало. Тут и отбился один, близко подошёл. Парень простоватый, а так надёжный. Вместе с Андрюхой у печей ходил, да тоже на Гумёшки попал. Андрюха и говорит ему негромко:

— Михайло! Иди-ко поближе.

Тот сперва пошёл на голос, потом остановился, спрашивает:

— Кому надо?

— Иди, говорю, ближе.

Михайло ещё подался, а уж, видать, боится чего-то. Андрюха тогда и выглянул из-за куста, показаться хотел, чтоб он не сомневался. Михайло сойкнул да бежать. Как нарочно в ту пору ещё бабёночку одну к тому месту занесло. Она тоже Андрюху-то увидала. Визг подняла — уши затыкай.

— Ой, батюшки, покойник! Ой, покойник!

Михайло тоже кричит:

— Андрюху Солёного видел! Как есть такой показался, как до рудника был! Вон за тем кустом вересовым!

В народе беспокойство пошло. Побежали которые с рудника, а начальство вперёд всех. Другие говорят:

— Надо поглядеть, что за штука!

Пошли тулаем[8], а так Андрюхе неладно показалось.

«Покажись, — думает, — зря-то, а мало ли кто в народе случится».

Он и отошёл подальше в лес. Те побоялись глубоко-то заходить, потолклись около куста, расходиться стали.

Андрюха тут и удумал. Обошёл Гумёшки лесом да ночью прямо на медный завод. Увидели его там — перепугались. Побросали всё, да кто куда. Надзиратель ночной с перепугу на крышу залез. На другой день уже его сняли — обеспамятел вовсе… Андрюха и походил у печей-то… Опять всё наглухо заморозил да к барину.

Тот, конечно, прослышал о покойнике, попов велел нарядить, только их на ту пору найти не могли. Тогда барин накрепко заперся в доме и не

---

[8] Примечания: 8
Тулаем — толпой.

велел никому отворять. Андрюха видит — не добудешь, ушёл на своё место — в узорчату палату. Сам думает:

«Погоди! Ещё я тебе соль припомню!»

На другой день в заводе суматоха. Шутка ли, во всех печах козлы. Барин слезами ревёт. На Гумёшках тоже толкошатся. Им велел отрыть задавленного и попам отдать — пущай, дескать, хорошенько захоронят, по всем правилам, чтоб не встал больше.

Разобрали обвал, а там тела-то и нет. Одна цепь осталась и кольца ножные целёхоньки, не подпилены даже. Тут рудничного надзирателя потянули. Он ещё повертелся, на рабочих хотел свалить, потом уж рассказал, как было дело. Сказали барину — сейчас перемена вышла. Рвёт и мечет:

— Поймать, коли живой!

Всех своих стражников-прислужников наряди лес обыскивать.

Андрюха этого не знал и вечером опять на горушечку вышел. Сколько, видно, ни хорошо в подземной палате, а на горушечке лучше. Сидит у камня и раздумывает, как бы ему со своими друзьями повидаться.

Ну, девушка тоже одна на уме была.

«Небось и она поверила, что умер. Поплакала, поди, сколь-нибудь!»

Как на грех, в ту пору женщины по лесу шли. С покосу ворочались али так, ягодницы припозднились… Ну, мало ли по лесу народу летом проходит. От той горушечки близенько шли. Сначала Андрюха слышал, как песни пели, потом и разговор разбирать стал.

Вот одна-то и говорит:

— Заподумывала, поди, Тасютка, как про Андрюху услыхала. Живой ведь, сказывают, он.

Другая отвечает:

— Как не живой, коли все печи заморозил!

— Ну, а Тасютка-то что? Искать, поди, собралась?

— Дура она. Тасютка-то. Вчера сколь ей говорила, а она старухам своим верит. Боится, как бы Андрюха к ней под окошко не пришёл, а сама ревёт.

— Дура и есть. Не стоит такого парня. Вот бы у меня такой был — мёртвого бы не побоялась.

Слышит это Андрюха, и потянуло его поглядеть, кто это Тасютку осудил. Сам думает: «Нельзя ли через них весточку послать?»

Пошёл на голоса. Видит — знакомые девчонки, только никак объявиться нельзя. Много, видишь,

народу-то идёт, да ещё ребятишки есть. Ну как объявишься?

Поглядел-поглядел, не показался. Пошёл обратно.

Сел на старое место, пригорюнился. А пока он ходил, его, видно, какой-то барский пёс и углядел да потихоньку другим весточку подал. Окружили горушечку. Радуются все. Самоглавный закричал:

— Бери его!

Андрюха видит — со всех сторон бегут… Нажал на камень да и туда. Стражники-прислужники подбежали, — никого нет. Куда девался? Давай на тот камень напирать. Пыхтят — стараются. Ну, разве его сдвинешь? Одумались маленько, страх опять на них напал:

— Всамделе, видно, покойник, коли через камень ушёл.

Побежали к барину, обсказали ему. Того и запотряхивало с перепугу-то.

— В Сысерть, — говорит, — мне надо. Дело спешное там. Вы тут без меня ловите. В случае не поймаете — строго взыщу с вас.

Погрозил — и на лошадь да в Сысерть и угнал. Прислужники не знают, что им делать. Ну, на то вывели — надо горушку караулить. Андрю-

ха там, под камнем-то, тоже заподумывал: как быть? Сидеть без дела непривычно, а выходить не приходится.

«Ночью, — думает, — попытаю. Не удастся ли по потёмкам выбраться, а там видно будет».

Надумал эдак-то, хотел еды маленько на дорогу в узелок навязать, а ящерок нету. Ему как-то без них неловко стало, вроде крадучись возьмёт.

«Ладно, — думает, — и без этого обойдусь. Живой буду — хлеба добуду».

Поглядел на узорчату палату, полюбовался, как всё устроено, и говорит:

— Спасибо этому дому — пойду к другому.

Тут Хозяйка и показалась ему, как быть должно.



Остолбенел парень — красота какая! А Хозяйка говорит:

— Наверх больше ходу нет. Другой дорогой пойдёшь. Об еде не беспокойся. Будет тебе, как захочешь, — заслужил. Выведет тебя дорога, куда надо. Иди вон в те двери, только, чур, не оглядывайся. Не забудешь?

— Не забуду, — отвечает, — спасибо тебе за всё доброе.

Поклонился ей и пошёл к дверям, а там точь-в-точь такая же девица стоит, только ещё ровно краше. Андрюха не вытерпел, оглянулся, — где та то? А она пальцем грозит:

— Забыл обещанье своё?

— Забыл, — отвечает, — ума в голове не стало.

— Эх, ты, — говорит, — а ещё Солёный! По всем статьям парень вышел, а как девок разбирать, так и неустойку показал. Что мне теперь с тобой делать-то?

— Твоя, — говорит, — воля.

— Ну ладно. На первый раз прощается, другой раз не оглянись. Худо тогда будет.

Пошёл Андрюха, а та, другая-то, сама ему двери отворила. Там штольня пошла. Светло в ней и конца не видно.

Оглянулся ли другой раз Андрей и куда его

штольня вывела — про то мне старики не сказывали.

С той только поры в наших местах этого парня больше не видали, а на памяти держали. Посолил он Турчанинову-то!

А те — прислужники-то турчаниновски — долго, слышь-ко, камень караулили. Днём и ночью кругом камня стояли. Нарочно народ ходил поглядеть на этих дураков. Потом, видно, им самим надоело. Давай тот камень порохом рвать. Руднишных нагнали. Ну, разломали, конечно, а барин к той поре отутовел, — отошёл от страху да их же ругать.

— Пока, — кричит, — вы пустой камень караулили, мало ли в заводе и на Гумёшках урону вышло. Вон у приказчика-то зад сожгли. Куда годится?



Приказчиковы подошвы



Был в Полевой приказчик — Северьян Кондратьич. Ох, и лютой, ох и лютой! Такого, как заводы стоят, не бывало. Из собак собака. Зверь.

В заводском деле он, слышь-ко, вовсе не мараковал, а только мог человека бить. Из бар был, свои деревни имел, да всего решился. А всё из-за лютости своей. Сколько-то человек до смерти забил, да ещё которых из чужого владенья. Ну огласка и вышла, прикрыть никак невозможно. Суд да дело — Северьяна и присудили в Сибирь либо на здешние заводы. А Турчаниновым — владельцам — такого убийцу подавай. Сразу назначили Северьяна в Полевую.

— Сократи, сделай милость, тамошний народ. Ежели и убьёшь кого, на суд тебя тут никто не потянет. Лишь бы народ потише стал, а то он вон что вытворять придумал.

А в Полевой перед этим старого-то приказчика на калёну болванку посадили, да так, что он в

одночасье помер.

Драли, конечно, за приказчика-то. Только виноватого не нашли.

— Никто его не садил. Сам сел. Угорел, может, либо затменье на него нашло. Хватились поднять его с болванки, а уж весь зад до нутра испортило. Такая, видно, воля божья, чтоб ему с заду смерть принять.

По этому случаю владельцам заводским и понадобилось рыкало-зыкало, чтобы народ испужать.

Вот и стал убойца Северьян нашим заводским приказчиком. Он, слышь-ко, смелый был, а всё ж таки понимал — завод не деревня, больше опаски требует. Народ, вишь, завсегда кучкой, место тесное, да ещё у огня. Всякий с орудией какой-нибудь… Клещами двинуть может, молотком садануть, сгибнем либо полосой брякнуть, а то и плахой ахнуть. Очень даже просто. Могут и в валок либо в печь головой сунуть. Угорел-де, подошёл близко, его и затянуло. Поджарили же того приказчика.

Северьян и набрал себе обережных. Откуда только выкопал! Один другого могутнее да отчаяннее. И всё народишко — откать последняя. Братцы-хватцы из шатальной волости. С этой оравой и ходил по заводу. Впереди сам идёт. В

руке плётка в два перста толщиной, с подвитым кончиком. В кармане пистолет, на четыре ствола заряженный. Пистончики надеты, только из кармана выдернуть. За Северьяном шайка идёт. Кто с палкой, кто с саблей, а кто с пистолетом тоже. Чисто в поход какой срядился.

Первым делом уставщика спрашивает:

— Кто худо робит?

Тот уж знает, что ладно про всех сказать нельзя, сам под плётку попадёшь — потаковщик-де. Вот и начинает уставщик вины выискивать. На ком по делу, на ком понасердке, а на ком и вовсе зря. Лишь бы от себя плётку отвести. Наговорит так-то на людей, приказчик и примется лютовать. Сам, слышь-ко, бил. Хлебом его не корми, любил над человеком погалиться. Такой уж характер имел. Убойца, однем словом.



В Медну гору сперва всё ж таки не спущался. Без привычки-то под землёй страшно, хоть кому доведись. Главная причина — потёмки, а свету не прибавишь. Хоть сам владелец спустись, ту же блёндочку дадут. Разбери, горит она али так только вид даёт. Ну, и мокреть тоже. И народ в горе вовсе потерянный. Такому что жить, что умирать — всё едино. Безнадёжный народ, самый для начальства беспокойный. И про то Северьян слыхал, что у Медной горы своя Хозяйка есть. Не любит будто она, как под землёй над человеком измываются. Вот Северьян и побаивался. Потом насмелился. Со всей своей шайкой в гору спустился. С той поры и пошло. Ровно ещё злости в Северьяне прибавилось. Раньше руднишных драли завсегда наверху, а теперь нову моду придумали. Приказчик плетью и чем попало прямо в забое народ бьёт. Да каждый день в гору повадился, а распорядок у него один — как бы побольше людям худа сделать. Который день много народу изобьёт, в тот и веселее. Расправит усы свои, да и хрипит руднишному смотрителю:

— Ну-ко, старый хрыч, приготовь к подъёму. Пообедать пора, намахался.

С неделю он так-то хозяевал в горе. Потом случай и вышел. Только сказал руднишному

смотрителю — готовь к подъёму, — вдруг голос, да так звонко, будто где-то совсем близко:

— Гляди, Северьянко, как бы подошвы деткам своим на помин не оставить!

Приказчик схватился:

— Кто сказал? — Повернулся на голос, да и повалился, чуть ноги не переломал. Они у него как прибитые стали. Едва от земли оторвал. А голос женский. Сумление тут приказчика и взяло, а всё ж таки виду не оказывает. Будто ничего не слыхал. Северьянова шайка тоже молчит, а видать — приуныла. Эти сразу сметили — *сама* погрозилась.

Вот ладно. Перестал приказчик в гору лазать. Вздохнули маленько руднишные, только ненадолго. Приказчику, вишь, стыдно: вдруг рабочие тот голос слышали да теперь и посмеиваются про себя: струсил-де Северьян. А это ему хуже ножа, как он завсегда похвалялся — никого не боюсь. Приходит он в прокатную, а там кричат:

— Эй, подошвы береги! — Это у них присловье такое. Упредить, значит, кто зазевался. А приказчик своё думает: «Надо мной смеются». Шибко его тем словом укололо. Не стал и человека искать, который про подошвы кричал. Даже никого на тот раз не избил, а стал посерёдке прокатной, да

и говорит своей-то ораве:

— Что-то мы давненько в горе не были. Надо там за порядком доглядеть.

Спустились в гору. И такая на приказчика злость накатила, как ещё не бывало. Походя всех лупит. Всё ему показать-то охота, что никого не боится. И вот опять тот же голос:

— Другой раз, Северьянко, тебя упреждаю. Пожалей своих малолетков. Подошвы им только оставишь!

Приказчик на голос повернулся и повалился, как и тот раз. Ноги от земли оторвать не может. Глядит, а они чуть не на вершок в породу вдавились, хоть каёлкой отбивай.

Вырвал всё ж таки, только сапоги спереду оскалились — подошвы отстали.

Притих приказчик, а как наверх поднялись, опять осмелел. Спрашивает своих-то:

— Слыхали что? в шахте?

Те говорят:

— Слыхали.

— Видели — как ноги у меня прилипли?

— Видели, — отвечают.

— Как думаете — что это?

Ну, те мнутся, понятно, потом один выискался и говорит:

— Не иначе это Медной горы Хозяйка тебе знак подаёт. Грозится вроде, а чем — непонятно.

— Так вот, — говорит Северьян, — слушайте, что я скажу. Завтра как свет в гору приготовьтесь. Я им покажу, как меня пужать да бабёнку в горе прятать. Все штольни-забои облазаю, а бабёнку ту поймаю и вот этой плёткой с пяти раз дух из неё вышибу. Слышали?

И дома перед женой этак же похваляется. Та, женским делом, в слёзы.

— Ох да ах, поберёгся бы ты, Северьянушко! Хоть бы попа позвал, чтоб он тебя оградил.

И верно, попа позвали. Тот попел, почитал, образок Северьяну на шею повесил, пистолет водичкой покропил, да и говорит:

— Не беспокойся, Северьян Кондратьич, а в случае чего читай «Да воскреснет бог».

На другой день на свету вся приказчикова шайка к спуску явилась. Помучнели все, один приказчик гоголем похаживает. Грудь выставил, плечи поднял, и глядят — сапоги на нём новёшенькие, как зеркало блестят. А Северьян плёткой по сапожкам похлопывает и говорит:

— Ещё раз оборву подошвы, так покажу руднишному смотрителю, как грязь разводить. Не погляжу, что он двадцать лет в горе служит, спу-

щу и ему шкуру. А вы первым делом старайтесь бабёнку эту углядеть. Кто её поймает, тому пятьдесят рублей награда.

Спустились, значит, в гору и давай везде шнырять. Приказчик, как обыкновенно, впереди, а орава за ним. Ну, в штольнях-то узко, они цепочкой и растянулись, один за другим. Вдруг приказчик видит — впереди кто-то маячит. Так себе легонько идёт, блёндочкой помахивает. На повороте видно стало, что женщина. Приказчик заорал — стой! — а она будто и не слыхала. Приказчик за ней бегом, а его верные слуги не шибко торопятся. Дрожь на их нашла. Потому видят — неладно дело: *сама* это. А назад податься тоже не смеют — Северьян до смерти забьёт. Приказчик всё вперёд бежит, а догнать не может. Лается, конечно, всяко, грозится, а она и не оглянется. Народу в той штольне ни души.

Вдруг женщина повернулась, и сразу светло стало. Видит приказчик — перед ним девица красоты неописанной, а брови у ней сошлись и глаза, как уголья.

— Ну, — говорит, — давай разочтёмся, убойца! Я тебя упреждала: перестань, — а ты что? Похвалялся меня плёткой с пяти раз забить? Теперь что скажешь?

А Северьян вгорячах кричит:

— Хуже сделаю. Эй, Ванька, Ефимка, хватай девку, волоки отсюда, стерву!

Это он своим-то слугам. Думает, тут они, близко, а сам чует — ноги у него опять к земле прилипли.

Уж не своим голосом закричал:

— Эй, сюда! — А девица ему и говорит:

— Ты глотку-то не надрывай. Твоим слугам тут ходу нет. Их и в живых сейчас многих не будет.

И легонько этак рукой помахала. Как обвал сзади послышался, и воздухом рвануло. Оглянулся приказчик, а за ним стена — ровно никакой штольни и не было.

— Теперь что скажешь? — спрашивает опять Хозяйка.

А приказчик, — он шибко ожесточённый был, да и попом обнадёженный, — выхватил свой пистолет:

— Вот что скажу! — И хлоп из одного ствола… в Хозяйку-то! Та пульку рукой поймала, в коленко приказчику бросила и тихонько молвила:

— До этого места нет его. — Как приказ отдала. И сейчас же приказчик по самое коленко зеленью оброс. Ну, тут он, понятно, завыл:

— Матушка-голубушка, прости, сделай милость.

Внукам-правнукам закажу. От места откажусь. Отпусти душу на покаянье!

А сам ревёт, слезами уливается. Хозяйка даже плюнула.

— Эх ты, — говорит, — погань, пустая порода! И умереть не умеешь. Смотреть на тебя — с души воротит.

Повела рукой, и приказчик по самую маковку зеленью зарос. Как глыба большая на его месте стала. Хозяйка подошла, чуть задела рукой, глыба и свалилась, а Хозяйка как растаяла.

А в горе переполох. Ну, как же — штольня обвалилась, а туда приказчик со всей свитой ушёл. Не шутка дело. Народ согнали. Откапывать стали. Наверху суматоха тоже поднялась. Барину в Сысерть нарочного послали. Горное начальство из города на другой день прикатило. Дня через два отрыли приказчиковых-то слуг. И вот диво! Которые хуже-то всех были, те все мёртвые, а кои хоть маленько стыд имели, те только изувечены.

Всех нашли, только приказчика нету. Потом уж докопались до какого-то неведомого забоя. Глядят, а на середине глыба малахиту отворочена лежит. Стали оглядывать её и видят — с одного-то конца она шлифована.

«Что, — думают, — за чудо? Кому тут малахит

шлифовать?» Стали хорошенько разглядывать, да и увидели посредине шлифованного места две подошвы сапожные. Новёхоньки подошовки-то. Все гвоздики на них видно. В три ряда. Довели об этом до барина, а тот уже старик тогда был, в шахту давно не спускался, а поглядеть охота. Велел вытаскивать глыбу как есть. Сколько тут битвы было! Подняли всё ж таки. Старый барин, как увидел подошвы, так в слёзы ударился:

— Вот какой у меня верный слуга был! — Потом и говорит: — Надо это тело из камня вызволить и с честью похоронить.

Послали сейчас же на Мрамор за самым хорошим камнерезом. А там тогда Костоусов на славе был. Привезли его.

Барин и спрашивает:

— Можешь ты тело из камня вызволить и чтоб тела не испортить?

Мастер оглядел глыбу и говорит:

— А кому обой будет?

— Это, — говорит барин, — уж в твою пользу, и за работу заплачу, не поскуплюсь.

— Что ж, — говорит, — постараться можно. Главное дело — материал шибко хороший. Редко такой и увидишь. Одно горе — дело наше мешкотно. Если сразу до тела обивать, дух, я думаю,

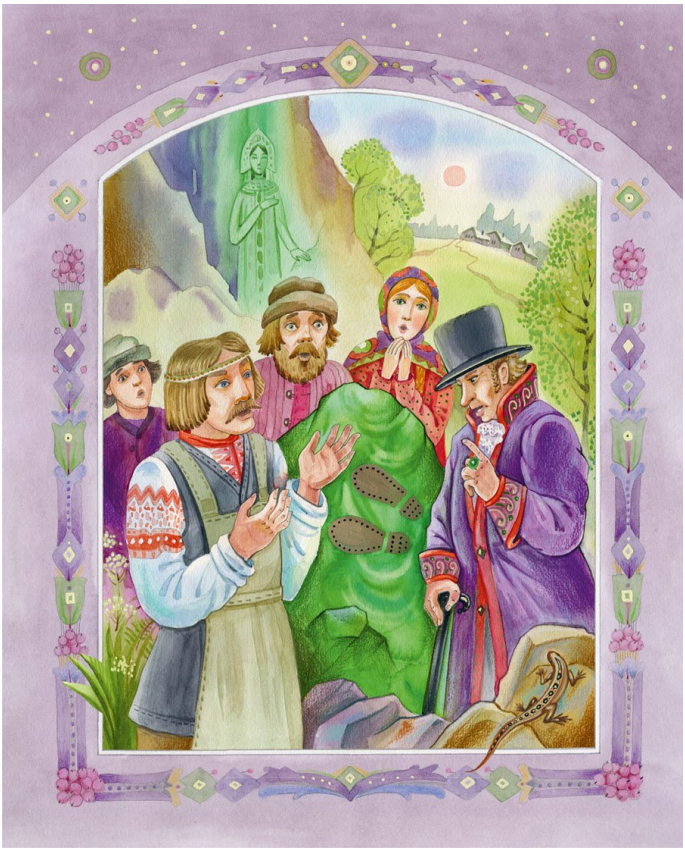
смрадный пойдёт. Сперва, видно, надо оболванить, а это малахиту потеря.

Барин даже огневался на эти слова.

— Не о малахите, — говорит, — думай, а как тело моего верного слуги без пороку добыть.

— Это, — отвечает мастер, — кому как.

Он, вишь, вольный, Костоусов-то, был. Ну, и разговор у него такой. Стал Костоусов мертвяка добывать. Оболванил сперва, малахит домой увёз. Потом стал до тела добираться. И ведь что? Где тело либо одёжа были, там всё пустая порода, а кругом малахит первосортный.



Барин всё ж таки эту пустую породу велел похоронить как человека. А мастер Костоусов жалел:

— Кабы знать, — говорит, — так надо бы глыбу сразу на распил пустить. Сколько добра сгибло из-за приказчика, а от него, вишь, что осталось! Одни подошвы.



Сочневы камешки

После Степановой смерти — это который малахитовы-то столбы добыл — много народу на Красногорку потянулось. Охота была тех камешков доступить, которые в мёртвой Степановой руке видели. Дело-то в осенях было, уж перед снегом. Много ли тут настараешься. А как зима прошла, опять в то место набежали. Поскыркались-поскыркались, набили железной руды, видят — пустое дело, — отстали. Только Ванька Сочень остался. Люди-то косить собираются, а он, знай своё, на руднике колотится. И старатель-то был невсамделешный, а так, сбоку припёка. Смолоду-то около господ тёрся, да за провинку выгнали его. Ну, а зараза эта — барские-то блюдья лизать — у него осталась. Все хотел чем ни на есть себя оказать. Выслужиться, значит. Ну, а чем он себя окажет? Грамота малая. С такой в приказные не возьмут. На огненную работу не гож, в горе и недели не выдержит. Он на прииска и подался.

Думал — там мёд пьют. Хлебнул, да солоно. Тогда он и приспособил себе ремесло по рылу — стал у конторы нюхалкой-наушником промеж старателей. Старательского ковшика не бросил. Тоже около песков кышкался, а сам только то и смышлял, где бы что выведать да конторским довести. Конторские видят себе пользу — сноровлять Сочню стали. Хорошие места отводят, деньжонками подавывают, одежонкой, обувкой. Старатели опять свой расчёт с Сочнем ведут: когда по загорбку, когда по уху, когда и по всем местам. Глядя по делу. Только Сочень к битью привыкши был по лакейскому-то сословию. Отлежится да за старое. Так вот и жил — вертелся промеж тех да этих. И женёшка ему под стать была, не то что гулящая али вовсе плёха, а так… чужой ужной звали: на даровщину любила пожить. Ребят, конечно, у них вовсе не было. Где уж таким-то.

Вот как пошли по заводу разговоры про Степановы камешки да кинулся народ на Красногорку, этот Сочень туда же.

«Поищу-ко, — думает. — Чем я хуже Степана? Небось такой дурости не допущу, чтоб богатство в руке раздавить».

Старатели знают, где что искать. Поскреблись на Красногорке, видят — порода не та, — отста-

ли. А этот Сочень умнее всех себя кажет — один остался.

— Не я, — говорит, — буду, коли богатство не возьму! — Вот какой умник выискался!

Хлещется этак раз в забое. Вовсе зря руду разворачивает. Вдруг глыба отвалилась. Пудов, поди, на двадцать, а то и больше. Чуть ноги Сочню не отдавило. Отскочил он, глядит, а в выбоине-то как раз против него два зелёных камня. Обрадовался Сочень, думает — на гнездо напал. Протянул руку выковырнуть камешок, а оттуда как пышкнет — с Ванькой от страху неладно стало. Глядит — из забоя кошка выскочила. Чисто вся бурая, без единой отметины, только глаза зелёные да зубы белеют. Шерсть дыбом, спина горбом, хвост свечкой — вот-вот кинется. Ванька давай-ко от этой кошки бежать. Версты, поди, две без оглядки чесал, задохся, чуть не умер. Потом уж потише пошёл. Пришёл домой, кричит своей бабе:

— Топи скорей баню! Неладно со мной приключилось.

После бани-то возьми, дурова голова, и расскажи всё бабе. Та, конечно, сейчас же присоветовала:

— Сходить бы тебе, Ванюшка, к бабушке Колесишке. Покланяться ей. Она те живо на путь

наставит.

Была такая, сказывают, старушонка. Родильниц в банях парила; случалось, и девий грех хоронила. Ноги, слышь-ко, у ней шибко кривые были. Как на колесе тулово посажено. За это Колесишкой и прозвали.

Ванька сперва упирался:

— Никуда не пойду, а на рудник и золотом не заманишь. На эки-то страсти! Да ни в жизнь! — За струментишком своим хотел даже человека нарядить. Боялся, вишь. Потом — денька через два, через три — отошёл, а бабёнка ему своё толмит:

— Сходи ты, сходи к Колесишке! Она ведунья. Научит, как те камешки взять. — Тоже, видно, обжаднела Сочнева-то баба на богатство.

Пошёл Ванька к Колесишке. Стал ей рассказывать, а что старуха понимает в земельном богатстве. Сидит да бормочет:

— Дыр-гыр-быр. Змея кошки боится, кошка собаки боится, собака волка боится, волк медведя боится. Дыр-быр-гыр! Чур меня! рассыпься! — Ну, и протчу ведунью дурость, а Ванька думает: «Ишь какая мудрёная бабка».

Рассказал Ванька, старуха и спрашивает:

— Есть у тебя, сынок, яга собачья?

— Есть, — отвечает, — немудренькая, вся в

дырьях!

— Это, — говорит, — всё едино, лишь бы пёсьим духом смердило.

— Смердит, — говорит, — шибко смердит. Из некормных собак собрана.

— Вот и ладно. Ты эту ягу надень и с себя не снимай, пока камешки домой не принесёшь. А ежели ещё опáсишься, так я тебе дам волчий хвост на шею повесить либо медвежьего сальца в рубаху зашить. Только та штука денежку стоит, и немалую.

Порядился Сочень с ведуньей, сходил домой, принёс деньги.

— Давай, баушка, хвост и сало! — Старушонке любо: дурака бог дал.

Повесил Сочень хвост на шею, сало ему жена в рубец на вороту рубахи зашила. Снарядился так-то, надел на себя ягу и пошёл на Красногорку. Кто встретится, всяк дивуется — в Петровки ягу надел. А Сочень пристанывает — лихоманка одолела, — даром что пот ручьём бежит. Пришёл на рудник. Видит — струментишко его тут валяется. Никто не обзарился. Шалашишко только ветром малость скособочило.

Никто, видать, без него тут не бывал. Огляделся так-то Сочень и давай опять зря руду ворочать.

Дело-то к вечеру пошло. Сочень боится на руднике остаться, а намахался. В яге-то летом помаши каёлкой! Кто и покрепче умается, а Сочень вовсе раскис. Где стоял, тут и лёг. Сон-от не свой брат — всех ровняет. Который и боязливый, а храпит не хуже смелого.

Выспался Ванька — лучше некуда — и вовсе осмелел. Поел — да за работу. Колотился-колотился, и опять, как тот раз, большая глыба отскочила — едва Ванька ноги уберёг. Думает — сейчас кошка выскочит. Нет, никого нету: видно, волчий хвост да медвежье сало помогают. Подошёл к выбоине и видит — выход породы новой обозначился. Пообчистил Ванька кругом, подобрался к тому месту и давай породу расковыривать. Порода сголуба, вроде лазоревки, лёгкая, рохло лежит. Поковырял маленько — на гнёздышко натакался. Целых шесть штук зелёных камешков взял, и все парами в породе сидели. Откуда у Сочня и сила взялась, давай дальше руду ворочать. Только, сколь ни бился, ничего больше добыть не мог. Как отрезало. Даже породы той не стало. Ровно кто её на поглядку положил.

Долго Ванька не сдавал. Поглядит на камешки, полюбуется да за кайлу. Толку всё ж таки нет. Измаялся, хлебный запас приел, надо домой бежать.

Тропка была прямёхонько к ключику, который у мостика через Северушку. Ванька той тропкой и пошёл. Лес тут густой, стоялый, а тропка приметная. Идёт Сочень, барыши считает: сколь ему за камни дадут. Только вдруг сзади-то:

— Мяу-мяу! отдай наши глаза!



Оглянулся Сочень, а на него прямо три кошки бегут. Все бурые и все без глаз. Вот-вот наскочат. Ванька в сторону, в лес. Кошки за ним. Только где им, безглазым-то! Сочень с глазами, и то себе всю рожу раскровянил, ягу в клочья изорвал по чаще-то. Сколь раз падал, в болоте вяз, насилу на дорогу выбился. По счастью, мужики северские ехали на пяти телегах. Видят — выскочил какой-то вовсе не в себе, — без слова подсадили и подвезли до Северной, а там Сочень потихоньку сам добрёл. Время ночное. Баба у Сочня спит, а избушка не заперта. Беспелюха тоже добрая была, Сочнева-то женёшка. Ей бы взвалёхнуться, а до дому дела нет. Сочень вздул огонька, покрестил все углы и сразу в кошелёк — поглядеть на свои камешки. Хвать-похвать, а в кошельке-то пыли щепоточка. Раздавил! Взвыл тут Сочень и давай с горя Колесишку позаочь материть:

— Не могла, такая-эдакая, от кошек уберегчи. За что я тебе деньги стравил, за что ягу на себе таскал!

Баба пробудилась — ей тычка дал и всяко выкорил. Баба видит — на себя мужик не походит, — давай-ко к нему ластиться. Он её костерит, а она:

— Ванюшка, не истопить ли баньку?

Знала тоже, с чем подъехать. Ну, Ванька пошумел-пошумел, да и отошёл — сказал бабе всё до капельки. Тут уж она сама заревела. Поглядит на пыль-то в кошельке, на палец возьмёт — лизнёт и опять в слёзы. Поревели так-то оба, потом баба опять советовать стала.

— Видно, — говорит, — Колесишкина сила не берёт. Надо для укрепы к попу сходить.

Сочень сперва и слушать не хотел. Думать боялся, как это он ещё на тот рудник пойдёт. Только ведь баба, как осенний дождь. День долбит, два долбит — додолбила-таки. Ну и сам Ванька отутовел маленько.

«Зря, — думает, — я тогда кошек испужался. Что они без глаз-то!»

Пошёл к попу: так и так, батюшка.

Поп подумал-подумал, да и говорит:

— Надо бы тебе, сыне, обещанье дать, что первый камешок из добычи на венчик Богородице приложишь, а потом по силе добавленье дашь.

— Это, — отвечает Сочень, — можно. Ежели десятка два добуду, пяток не пожалею.

Тогда поп давай над Сочнем читать. Из одной книжки почитал, из другой, из третьей, водой покропил, крестом благословил, получил с Ваньки полтину, да и говорит:

— Хорошо бы тебе, сыне, крестик кипарисовый с Афон-горы доступить. Есть у меня такой, да только себе дорого стоит. Тебе, пожалуй, для такого случая уступлю по своей цене, — и назначил вдвое против Колесишки-то. Ну, с попом ведь не рядятся — сходил Ванька домой, заскребли с бабой последние деньги. Купил Сочень крестик и перед бабой похваляется:

— Теперь никого не боюсь.

На другой день на рудник собрался. Баба ему ту рубаху, с медвежьим-то салом, вымыла, ягу починила сколь можно. Хвост волчий Ванька на шею надел, тут же крестик кипарисовый повесил. Пришёл на Красногорку. Там всё по-старому. Что где лежало, то тут и лежит. Только шалашишко ещё ровно больше скособочило.

Ну Ваньке не до этого. Сразу в забой. Только замахнулся кайлой, его кто-то и спрашивает:

— Опять, Ваня, пришёл? Безглазых кошек не боишься?

Ванька оглянулся, а чуть не рядом *сама* сидит. По платью-то малахитовому Ванька сразу признал её. У Ваньки руки-ноги отнялись и язык без пути заболтался:

— Как же, как же… Дыр-гыр-быр… Свят… свят… рассыпься.

Она этак посмеивается:

— Да ты не бойся! Ведь я не кошка безглазая. Скажи-ка лучше, что тебе тут надо?

Ванька знай бормочет:

— Как же, как же… Дыр-гыр-быр… — Потом отошёл будто маленько: — Камешков поискать пришёл… В Степановой руке люди видели…

Она прихмурилась:

— Ты это имя не трожь! А камней я тебе дам. Вижу, какой ты старатель, да и от приисковских про тебя слыхала. Будто ты шибко им полезный.

— Как же, как же… — обрадовался Ванька. — Я завсегда по совести.

— Вот по твоей совести и получишь. Только, чур, уговор. Никому те камни не продавай. Ни единого, смотри! Сразу снеси всё приказчику. Он тебя и наградит из своих рук. Потом из казны добавит. На всю жизнь будешь доволен. Столь отсыплет, что самому и домой не донести.

Сказала так-то и повела Сочня под горку. Как спустились, пнула ногой огромадный камень. Камень отвалился, а под ним как тайничок открылся. По голубой породе камешки зелёные сидят. Полным-полнёхонько.

— Нагребай, — говорит, — сколько надо, — а сама тут же стоит, смотрит.

Ванька хоть старатель был маломальный, а кошелёк у него исправный, больше всех. Набил натуго, а всё ему мало. Охота бы в карманы насовать, да боится: Хозяйка сердито глядит, а сама молчит. Делать нечего — видно, надо спасибо сказать. Глядит, — а никого нет. Оглянулся на тайник, и его не стало. Будто не было вовсе. На том месте камень лежит, на медведя походит. Пощупал Ванька кошелёк — полнёхонек, как бы не разошёлся. Поглядел ещё на то место, где камешки брал, да айда-ко поскорее домой. Бежит-бежит да пощупает кошелёк: тут ли. Хвостом волчьим над ним помашет, крестиком потрёт и опять бежит. Прибежал домой задолго до вечера. Баба даже испугалась.

— Баню, — спрашивает, — топить?

А он как дикой.

— Занавесь-ко, — кричит, — окошки на улку! — Ну, баба, конечно, занавесила чем попало оба окошечка, а Сочень кошелёк на стол:

— Гляди!

Баба видит — полон кошелёк каких-то зелёных зёрнышек. Обрадовалась сперва-то, закрестилась, потом и говорит:

— А может, не настоящие?

Ванька даже осердился:

— Дура! В горе, поди, брал. Кто тебе в гору подделку подсунет? — Про то не сказал, что ему Хозяйка сама камни показала да ещё наказ дала. А Сочнева баба всё ж таки сумлевается:

— Ежели ты сразу кошелёк набил, так лошадные мужики узнают — возами привезут. Куда тогда эти камешки? Малым ребятам на игрушки да девкам на буски?

Ванька даже из лица вспыхнул:

— Сейчас узнаешь цену такому камешку!

Отсыпал в горстку пять штук, кошелёк на шею и побежал к щегарю:

— Кузьма Мироныч, погляди камешки.

Щегарь оглядел. Стеколко своё на ножках взял. Ещё оглядел. Кислотой попробовал.

— Где, — говорит, — взял?

Ну, Ванька, конторская нюхалка, сразу и говорит:

— На Красногорке.

— В котором месте?

Тут Ванька схитрил маленько, указал, где сперва-то работал.

— Сумнительно что-то, — говорит щегарь. — По железу медных изумрудов не бывает. А много добыл?

Ванька и вытащил кошелёк на стол. Щегарь

взглянул в кошелёк и прямо обомлел. Потом отдышался, да и говорит:

— Поздравляю вас, Иван Трифоныч! Счастье вас поискало. Не забудьте при случае нас, маленьких. — А сам Ваньку-то за ручку да всё навеличивает. Известно, деньги чего не делают! — Пойдёмте, — говорит, — сейчас же к приказчику.

Ванька так и сяк:

— Помыться бы сперва, в баню сходить, переоболокчись.

А это ему охота было камешков отсыпать. Только щегарь своё:

— С таким-то кошелём не то что к приказчику, к царю можно идти. Не побрезгует, во всякое время примет.

Ну, делать нечего. Привёл щегарь Ваньку к приказчику. А там сборище како-то было. И сам старый барин тут же, только что приехал. Сидит осередь комнаты и рожок при ухе держит, а приказчик ему: «ду-ду», наговаривает всяку штуку.

Зашёл щегарь в ту комнату, обсказал что надо, а приказчик сейчас же в рожок барину задудел:

— Нашли-таки мы медные изумруды. Один верный человек расстарался. Надо его наградить как следует.

Привели Сочня в комнату.

Достал он свой кошелёк, подал барину да ещё и руку ему чмокнул. Барин даже удивился:

— Откуда такой? Весь порядок знает.

— В лакеях раньше-то состоял, — задудел приказчик.

— То-то и есть, — говорит барин, — сразу видать. А ещё толкуют, что из дворовых плохие работники. Вон этот сколько добыл.

Сам эдак подкидывает кошелёк на руке-то. Кругом вся заводская знать собралась. Барыни, кои поважнее, тут же трутся. Барин стал кошелёк развязывать, да сноровки нет, он и подал Сочню — развяжи-де. Сочень рад стараться: дёрнул ремешок, растянул устьице.

— Пожалуйте!

И тут такой, слышь-ко, дух пошёл — терпеть нельзя. Ровно палую лошадь либо корову затащили. Барыни, которые поближе стояли, платочками рты-носы захватили, а барин на приказчика накинулся:

— Эт-та что? Надсмешки надо мной строишь?



Приказчик хвать рукой в кошелёк, а там ничем-ничегошеньки, только дух того гуще пошёл. Барин захватил рот рукой да из комнаты. Остальные — кто куда. Один приказчик да Сочень остались. Сочень побелел весь, а приказчик от злости трясётся:

— Ты это что? А? Откуда столь вони насобирал? Кто научил?

Сочень видит — дело плохо, давай рассказывать всё начистоту. Ничего не утаил. Приказчик слушал-слушал, да и спрашивает:

— Награду, — говоришь, — сулила?

— Сулила, — вздохнул Сочень.

— От меня сулила?

— Так и сказала: наградит из своей руки да ещё из казны добавит.

— Получай тогда, — заревел приказчик да как двинет Сочня по зубам — чуть он угол башкой не прошиб.

— Это, — кричит, — тебе задаток. Награду на пожарной получишь. До веку её не забудешь.

И верно. На другой день отсыпали Сочню столько, что на своих ногах донести не смог — на рогоже в лазарет стащили. Даже те, кому не раз случалось Сочня колачивать, пожалели маленько.

— Достукался, конторская нюхалка!

Только и приказчику не сладко поелось. В тот же день барин давай его допекать:

— Как ты смел такую штуку подстроить?

Приказчик, понятно, финти-винти:

— Не причастен этому делу. Старателишко меня подвёл.

— А кто, — спрашивает, — этого старателишка ко мне допустил да ещё с этаким кошельком?

Приказчику податься некуда, сознался:

— Моя оплошка.

— Вот и получи. По заслуге. Ступай-ко из приказчиков надзирателем на Крылатовско, — говорит барин да ещё своим подручникам, кои при разговоре случились, объясняет:

— Пущай, дескать, на вольном воздухе пробегается. И так-то от него дух тяжёлый. Недаром козлом дразнят, а теперь и вовсе его видеть не могу. С души воротит, после вчерашнего-то.

На Крылатовском тот приказчик и в доски ушёл. После прежнего-то житья несладко тоже пришлось.

Насмеялась, видно, и над ним Хозяйка.

Каменный цветок



Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались, как его было довольно, и сорт — выше нет.

Вот из этого малахиту и выделывали подходящие. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему помогло.

Был в ту пору мастер Прокопьич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.

Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопьичу парнишек на выучку.

— Пущай-де переймут всё до тонкости.

Только Прокопьич, — то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли ещё что, — учил шибко худо. Всё у него с рывка да с тычка.

Насадит парнишке по всей голове шишек, уши

чуть не оборвёт, да и говорит приказчику:

— Не гож этот… Глаз у него неспособный, рука не несёт. Толку не выйдет.

Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича.

— Не гож так не гож… Другого дадим… — И нарядит другого парнишку.

Ребятишки прослышали про эту науку… Спозаранку ревут, как бы к Прокопьичу не попасть. Отцам-матерям тоже несладко родного дитёнка на зряшную муку отдавать, — выгораживать стали своих-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.

Приказчик всё ж таки помнит баринов наказ — ставит Прокопьичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику.

— Не гож этот…

Приказчик взъедаться стал:

— До какой поры это будет? Не гож да не гож, когда гож будет? Учи этого…

Прокопьич знай своё:

— Мне что… Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет…

— Какого тебе ещё?

— Мне хоть и вовсе не ставь, — об этом не скучаю…

Так вот и перебрали приказчик с Прокопьичем много ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове — как бы убежать. Нарочно которые портили, чтобы Прокопьич их прогнал.

Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконький, а худой-расхудой, в чём душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявеньки, глазёнки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что — навытяжку: что прикажете? А этот Данилко забьётся куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшенье, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведёт. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули:

— Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.

На заводскую работу либо в гору всё ж таки не отдали — шибко жидко место, на неделю не

хватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко не вовсе гож пришёлся. Парнишечко ровно старательный, а всё у него оплошка выходит. Всё будто думает о чём-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сироту, и тот временем ругался:

— Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведёшь. Куда это годится? О чём хоть думка-то у тебя?

— Я и сам, дедко, не знаю… Так… ни о чём… Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней жёлтенько выглядывает, а листок широконький… По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а серёдка зелёная-презелёная, ровно её сейчас выкрасили… А букашка-то и ползёт.

— Ну не дурак ли ты, Данилко? Твоё ли дело букашек разбирать? Ползёт она — и ползи, а твоё дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!

Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился — куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:

— Сыграй, Данилушко, песенку.

Он и начнёт наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьёт. Про кусок и разговору нет — каждая норовит дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнёт Данилушко наигрывать и всё забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.



Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровёнок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят — той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной… Самое тут волчье место, глухое… Одну только коровёнку и нашли. Пригнали стадо домой… Так и так обсказали. Ну, из завода тоже побежали-поехали на розыски, да не нашли.

Расправа тогда известно какая была. За всякую вину спину кажи. На грех ещё одна-то корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач оговорился даже:

— Экой-то, — говорит, — с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.

Ударил всё ж таки — не пожалел, а Данилушко молчит. Палач его вдругорядь — молчит, втретьи — молчит.

Палач тут и расстервенился, давай полысать со всего плеча, а сам кричит:

— Я тебя, молчуна, доведу… Дашь голос… Дашь!

Данилушко дрожит весь, слёзы каплют, а молчит. Закусил губёнку-то и укрепился. Так и

сомлел, а словечка от него не слыхали. Приказчик, — он тут же, конечно, был, — удивился:

— Какой ещё терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется.

Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. Заместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты… Ну, всё как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала.

Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словоохотливая, а трав, да корешков, да цветков всяких у ней насушено да навешано по всей избе. Данилушко к травам-то любопытен — как эту зовут? где растёт? какой цветок? Старушка ему и рассказывает.

Раз Данилушко и спрашивает:

— Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?

— Хвастаться, — говорит, — не буду, а все будто знаю, какие открытые-то.

— А разве, — спрашивает, — ещё неоткрытые

бывают?

— Есть, — отвечает, — и такие. Папору вот слыхал? Она будто цветёт на Иванов день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-траве цветок — бегучий огонёк. Поймай его — и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то ещё каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растёт. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит.

— Чем, бабушка, несчастный?

— А это, дитёнок, я и сама не знаю. Так мне сказывали.

Данилушко у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишко мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит:

— Иди-ко теперь к Прокопьичу — малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа.

Ну, что сделаешь? Пошёл Данилушко, а самого ещё ветром качает.

Прокопьич поглядел на него, да и говорит:

— Ещё такого недоставало. Здоровым парнишкам здешняя учёба не по силе, а с такого что взыщешь — еле живой стоит.

Пошёл Прокопьич к приказчику:

— Не надо такого. Ещё ненароком убьёшь — отвечать придётся.

Только приказчик — куда тебе, слушать не стал:

— Дано тебе — учи, не рассуждай! Он — этот парнишка — крепкий. Не гляди, что жиденький.

— Ну, дело ваше, — говорит Прокопьич, — было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.

— Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай, — отвечает приказчик.

Пришёл Прокопьич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан — кромку отбить. Вот Данилушко на это место уставился и головёнкой покачивает. Прокопьичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:

— Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?

Данилушко и отвечает:

— На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут.

Прокопьич закричал, конечно:

— Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало,

а судишь? Что ты понимать можешь?

— То и понимаю, что эту штуку испортили, — отвечает Данилушко.

— Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне — первому мастеру!.. Да я тебе такую порчу покажу… жив не будешь!

Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопьич-то, вишь, сам над этой досочкой думал — с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьич и говорит вовсе уж добром:

— Ну-ко, ты, мастер явленый, покажи, как, потвоему, сделать?

Данилушко и стал показывать да рассказывать:

— Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше — пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.

Прокопьич знай покрикивает:

— Ну-ну… Как же! Много ты понимаешь. Накопил — не просыпь! — А про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок — он и ноги протянет».

Подумал так, да и спрашивает:

— Ты хоть чей, экий учёный?

Данилушко и рассказал про себя.

Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозванье отцовское — про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал.

Прокопьич пожалел:

— Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут ещё ко мне попал. У нас мастерство строгое.

Потом будто рассердился, заворчал:

— Ну, хватит, хватит! Вишь, разговорчивый какой! Языком-то — не руками — всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.

Прокопьич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей снаходу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечерами Прокопьич сам управлял, что ему надо.

Поели, Прокопьич и говорит:

— Ложись вон тут, на скамеечке!

Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поёжился маленько, — вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени, — всё ж таки вскорости уснул. Прокопьич тоже лёг, а уснуть не может: всё у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдёт. Ворочался-ворочался, встал, зажёг свечку, да и к станку — давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую… прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернёт, и всё выходит, что парнишка лучше узор понял.

— Вот тебе и Недокормышек! — дивится Прокопьич. — Ещё ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок! Ну и глазок!

Пошёл потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл:

— Спи-ко, глазастый!

А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то — тепло ему стало, — и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопьича своих ребят не бывало, этот Данилушко и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушко знай посвистывает, спит

себе спокойненько. У Прокопьича забота — как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.

— С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отрава, — живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.

На другой день и говорит Данилушке:

— Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой уж у меня порядок заведён. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Её иньями прихватило, — в самый раз она теперь на пироги. Да гляди не ходи далеко-то. Сколь наберёшь — то и ладно. Хлеба возьми полишку, — естся в лесу-то, — да ещё к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек плеснула. Понял?

На другой день опять говорит:

— Поймай-ко ты мне щеглёнка поголосистее да чечётку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?

Когда Данилушко поймал и принёс, Прокопьич говорит:

— Ладно, да не вовсе. Лови других.

Так и пошло. На каждый день Прокопьич Данилушке работу даёт, а всё забава. Как снег выпал,

велел ему с соседом за дровами ездить — пособишь-де. Ну, а какая подмога! Вперёд на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идёт. Промнётся так-то, поест дома, да и спит покрепче. Шубу ему Прокопьич справил, шапку тёплую, рукавицы, пимы на заказ скатали. Прокопьич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.

В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопьичу тоже прильнул. Ну как! — понял Прокопьичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокопьичу расскажет, да и спрашивает — это что да это как? Прокопьич объяснит, на деле покажет. Данилушко примечает. Когда и сам примется: «Ну-ко, я...» — Прокопьич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.

Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:

— Это чей парнишка? Который день его на

пруду вижу… По будням с удочкой балуется, а уж не маленький… Кто-то его от работы прячет…

Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.

— Ну-ко, — говорит, — тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.

Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:

— Ты чей?

Данилушко и отвечает:

— В ученье, дескать, у мастера по малахитному делу.

Приказчик тогда хвать его за ухо:

— Так-то ты, стервец, учишься! — Да за ухо и повёл к Прокопьичу.

Тот видит — неладно дело, давай выгораживать Данилушку:

— Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.

Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нём добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнёшки. Вот и давай проверку Данилушке делать:

— Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил?

Данилушко запончик надел, подошёл к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит — у него на всё ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево. Однем словом, всё как есть.

Пытал-пытал приказчик, да и говорит Прокопьичу:

— Этот, видно, гож тебе пришёлся?

— Не жалуюсь, — отвечает Прокопьич.

— То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу — до смерти не забудешь, да и парнишке невесело станет.

Погрозился так-то, ушёл, а Прокопьич дивуется:

— Когда хоть ты, Данилушко, всё это понял? Ровно я тебя ещё и вовсе не учил.

— Сам же, — говорит Данилушко, — показывал да рассказывал, а я примечал.

У Прокопьича даже слёзы закапали, — до того ему это по сердцу пришлось.

— Сыночек, — говорит, — милый, Данилушко… Что ещё знаю, всё тебе открою… Не потаю…

Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки.

Потом с точкой пошло: подсвечники да украшенья разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь — у малахитчиков — дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.

А как выточил зарукавье-змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:

«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу — Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости ещё тихо. Прикажете на уроках его оставить али, как и Прокопьича, на оброк отпустить?»

Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять дён, а Прокопьич пойдёт, да и говорит:

— Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится — только камень без пользы изведёт.

Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а всё ж таки разумел грамоте. Прокопьич ему в этом тоже сноровлял. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал:

— Что ты! Что ты, дяденька! Твоё ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться стал, а мне что делается?

Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да весёлый. Однем словом, сухота девичья. Прокопьич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко знай головой потряхивает:

— Не уйдёт от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.

Барин на приказчиково известие отписал:

«Пусть тот Прокопьичев выученик Данилко сделает ещё точёную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу — на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтоб Прокопьич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь

— с тебя взыск будет».

Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит:

— Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.

Прокопьич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошёл к приказчику, да разве он скажет… Закричал только: «Не твоё дело!»

Ну, вот пошёл Данилушко работать на новое место, а Прокопьич ему наказывает:

— Ты гляди не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.

Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай не делай, а срок отбывай — сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:

— Ещё такую же делай!

Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:

— Теперь не увернёшься! Поймал я вас с Прокопьичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою

силу. Не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет!

Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин, — то ли на него умный стих нашёл, то ли он на приказчика за что сердит был, — всё как есть наоборот повернул.

Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьича брать — может-де вдвоём-то скорее придумают что новенькое. При письме чертёж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Однем словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была».

Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопьичу и чертёж отдал.

Повеселели Данилушко с Прокопьичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил — пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватает — хорошо идёт дело. Одно ему не по нраву — трудности много, а

красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопьичу, а он только удивился:

— Тебе-то что? Придумали — значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они — толком и не знаю.

Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал:

— Ты очумел? За чертёж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!

Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, — не выдумают ли вдвоём-то чего новенького, — и говорит:

— Ты вот что… делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь — твоё дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо — такой и дам.

Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано — чужое охаять мудрости немного надо, а своё придумать — не одну ночку с боку на бок повертишься. Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдёт. Задумчивый стал, невесёлый. Прокопьич заметил, спрашивает:

— Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то всё сидишь да сидишь.

— И то, — говорит Данилушко, — в лес хоть сходить. Не увижу ли что мне надо.

С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку — не потерял ли чего? Он улыбнётся этак невесело, да и скажет:

— Потерять не потерял, а найти не могу.

Ну, которые и запоговаривали:

— Неладно с парнем.

А он придёт домой и сразу к станку да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а всё больше из объеди: черемицу да омег, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопьич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:

— Чаша мне покою не даёт. Охота так её сделать, чтобы камень полную силу имел.

Прокопьич давай отговаривать:

— На что она тебе далась? Сыты ведь, чего ещё? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор — сделаем, а навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать — только и всего.

Ну, Данилушко на своём стоит.

— Не для барина, — говорит, — стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, подико, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим да режем, да полер наводим и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желанье так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.

По времени отошёл Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:

— Лента каменная с дырками, каёмочка резная…

Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопьичу сказал:

— По дурман-цветку свою чашу делать буду.

Прокопьич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла,

и говорит Прокопьичу:

— Ну, ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай… Не могу её из головы выбросить.

Прокопьич отвечает:

— Ладно, мешать не стану, — а сам думает: «Уходится парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьёй обзаведётся».

Занялся Данилушко чашей. Работы с ней много — в один год не укладёшь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопьич и стал про женитьбу заговаривать:

— Вот хоть бы Катя Летемина — чем не невеста? Хорошая девушка… Похаять нечем.

Это Прокопьич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно поглядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопьич будто ненароком и заводил разговор. А Данилушко своё твердит:

— Погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди — молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождёт она меня.



Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумал сделать. Катя — невеста-то — с родителями пришла, ещё которые… из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.

— Как, — говорит, — только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего всё гладко да чисто обточено!

Мастера тоже одобряют:

— В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь — пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.

Данилушко слушал-слушал, да и говорит:

— То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок… самый что ни есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.

— А где оплошал, — смеются мастера, — там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдёшь.

— Вот-вот… А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!

Горячиться стал. Выпил, видно, маленько.

Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопьич не раз говаривал:

— Камень — камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать.

Только был тут старичок один. Он ещё Прокопьича и тех — других-то мастеров — учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял, да и говорит Данилушке:

— Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадёшь к Хозяйке в горные мастера…

— Какие мастера, дедушко?

— А такие… в горе живут, никто их не видит… Что Хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.

Всем любопытно стало. Спрашивают, — какую поделку видел.

— Да змейку, — говорит, — ту же, какую вы на

зарукавье точите.

— Ну и что? Какая она?

— От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает — не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик чёрненький, глазки… Того и гляди клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.

Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика.

Тот по совести сказал:

— Не знаю, милый сын. Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.

Данилушко на это и говорит:

— Я бы поглядел.

Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась:

— Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? — да в слёзы. Прокопьич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера на смех подымать:

— Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.

Старик разгорячился, по столу стукнул:

— Есть такой цветок! Парень правду говорит:

камень мы не разумеем. В том цветке красота показана.

Мастера смеются:

— Хлебнул, дедушко, лишка!

А он своё:

— Есть каменный цветок!

Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман-цветка ходить, а про свадьбу и не поминает. Прокопьич уж понуждать стал:

— Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того и жди — пересмеивать её станут. Мало смотниц-то?

Данилушко одно своё:

— Погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу.

И повадился он на медный рудник — на Гумёшки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдёт, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его, да и говорит:

— Нет, не тот…

Только это промолвил, что-то и говорит:

— В другим месте поищи… у Змеиной горки.

Глядит Данилушка — никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли… Будто и спрятаться негде. Поогляделся ещё, пошёл домой, а вслед ему опять:

— Слышишь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.

Оглянулся Данилушко — женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.

«Что, — думает, — за штука? Неуж *сама*? А что, если сходить на Змеиную-то?»

Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумёшек. Теперь её нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали.

Вот на другой день и пошёл туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.

Подошёл Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень — на руках не унести — и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Всё, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется… Ну, всё как есть… Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, привёз камень домой, говорит Прокопьичу:

— Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и же-

ниться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это нелегко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы её кончить!

Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопьич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идёт. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки — всё пришлось лучше нельзя. Прокопьич и то говорит — живой цветок-то хоть рукой пощупать. Ну, а как до верху дошёл — тут заколодило. Стебелёк выточил, боковые листики тонёхоньки — как только держатся! Чашку, как у дурман-цветка, а не то… Неживой стал и красоту потерял. Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопьич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся — чего ещё парню надо? Чаша вышла — никто такой не делывал, а ему неладно. Умуется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, — поплакивать стала. Это Данилушку и образумило.

— Ладно, — говорит, — больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. — И давай сам торопить со свадьбой. Ну а

что торопить, коли у невесты давным-давно всё готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит — вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:

— Погоди маленько, доделка есть.

Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба пришлась. К слову кто-то и помянул про это — вот-де скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушко эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего? — и про камень припомнил: — Ведь как положенный был! И голос на руднике-то… про Змеиную же горку говорил».

Вот и пошёл Данилушко. Земля тогда уже подмерзать стала, и снежок припорашивал. Подошёл Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это камень ломал, зашёл в выбоину. «Посижу, — думает, — отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит — у одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и всё цветок тот каменный из головы нейдёт. «Вот

бы поглядеть!» Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу её признал. Только и то думает: «Может, мне это кажется, а на деле никого нет». Сидит — молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:

— Ну что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?

— Не вышла, — отвечает.

— А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям.

— Нет, — отвечает, — не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.

— Показать-то, — говорит, — просто, да потом жалеть будешь.

— Не отпустишь из горы?

— Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.

— Покажи, сделай милость!



Она ещё его уговаривала:

— Может, ещё попытаешь сам добиться! — Про Прокопьича тоже помянула: — Он-де тебя пожалел, теперь твой черёд его пожалеть. — Про невесту напомнила: — Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь.

— Знаю я, — кричит Данилушко, — а только без цветка мне жизни нет. Покажи!

— Когда так, — говорит, — пойдём, Данило-мастер, в мой сад.

Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня… Ну, всякие… Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная… разная… Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев-то змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идёт.

И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты чёрные, как бархат. На этих кустах большие зелёные колокольцы малахитовы и в

каждом сурьмяная звёздочка. Огневые пчёлки над теми цветками сверкают, а звёздочки тонёхонько позванивают, ровно поют.

— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка.

— Не найдёшь, — отвечает Данилушко, — камня, чтобы так-то сделать.

— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. — Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну известно, осень.

Пришёл Данилушко домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко весёлым себя показывал — песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась:

— Что с тобой? Ровно на похоронах ты!

А он и говорит:

— Голову разломило. В глазах чёрное с зелёным да красным. Света не вижу.

На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит:

— Пойдёмте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдём, а по Еланской воротимся.

Про себя думает: «Пообдует Данилушку ветром, — не лучше ли ему станет».

А подружкам что… Рады-радёхоньки.

— И то, — кричат, — проводить надо. Шибко он близко живёт — провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали.

Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она протяжно да жалобно поётся, чисто по покойнику. Катенька видит — вовсе ни к чему это: «И без того Данилушко у меня невесёлый, а они ещё такое причитанье петь придумали».

Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за весёлые принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идёт, голову повесил. Сколь Катенька ни старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться — кому куда, а Данилушко уж без обряду невесту свою проводил и домой пошёл.

Прокопьич давно спал. Данилушко потихоньку зажёг огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку, как ножом по сердцу, резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопьич прокашлялся, спрашивает:

— Ты что это с чашами-то?

— Да вот гляжу, не пора ли сдавать?

— Давно, — говорит, — пора. Зря только место занимают. Лучше всё равно не сделаешь.

Ну, поговорили ещё маленько, потом Прокопьич опять уснул. И Данилушко лёг, только сна ему нет и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажёг огонь, поглядел на чаши, подошёл к Прокопьичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал…

Потом взял балодку да как ахнет по дурман-цветку — только схрупало. А ту чашу — по барскому-то чертежу — не пошевелил! Плюнул только в серёдку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли.

Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал:

— Хозяйка взяла его в горные мастера.

На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.



Горный мастер



Катя — Данилова-то невеста — незамужницей осталась. Года два либо три прошло, как Данило потерялся, — она и вовсе из невестинской поры вышла. За двадцать-то годов, по-нашему, по-заводскому, перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовцы больше. Ну, а эта Катя, видно, пригожа была, к ней всё женихи лезут, а у ней только и слов:

— Данилу обещалась.

Её уговаривают:

— Что поделаешь! Обещалась, да не вышла. Теперь об этом и поминать не к чему. Давно человек изгиб.

Катя на своём стоит:

— Данилу обещалась. Может, и придёт ещё он.

Ей толкуют:

— Нет его в живых. Верное дело.

А она упёрлась на своём:

— Никто его мёртвым не видал, а для меня он и

подавно живой.

Видят — не в себе девка, — отстали. Иные на смех ещё подымать стали: прозвали её мертвяковой невестой. Ей это прильнуло. Катя Мертвякова да Катя Мертвякова, ровно другого прозванья не было.

Тут какой-то мор на людей случился, и у Кати старики-то оба умерли. Родство у неё большое. Три брата женатых да сестёр замужних сколько-то. Рассорка промеж ними и вышла — кому на отцовском месте оставаться. Катя видит — бестолковщина пошла, и говорит:

— Пойду-ко я в Данилушкову избу жить. Вовсе Прокопьич старый стал. Хоть за ним похожу.

Братья-сёстры уговаривать, конечно:

— Не подходит это, сестра. Прокопьич хоть старый человек, а мало ли что про тебя сказать могут.

— Мне-то, — отвечает, — что? Не я сплетницей стану. Прокопьич, поди-ко, мне не чужой. Приёмный отец моему Данилу. Тятенькой его звать буду.

Так и ушла. Оно и то сказать: семейные не крепко вязались. Про себя думали: лишний из семьи — шуму меньше. А Прокопьич что? Ему это по душе пришлось.

— Спасибо, — говорит, — Катенька, что про меня вспомнили.

Вот и стали они поживать. Прикопьич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегает — в огороде там, сварить-постряпать и протча. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то… Катя — девушка проворная, долго ли ей!.. Управится и садится за какое рукоделье: сшить-связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось, только Прокопьичу всё хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изробился, старый стал. Катя и заподумывала, как они дальше-то жить станут.

«Рукодельем женским не прокормишься, а другого ремесла не знаю».

Вот и говорит Прокопьичу:

— Тятенька! Ты бы хоть научил меня чему попроще.

Прокопьичу даже смешно стало.

— Что ты это! Девичье ли дело за малахитом сидеть! Отродясь такого не слыхивал.

Ну, она всё ж таки присматриваться к Прокопьичеву ремеслу стала. Помогала ему где можно. Распилить там, пошлифовать. Прокопьич и стал ей то-другое показывать. Не то чтобы настояще. Бляшку обточить, ручки к вилкам-ножам сделать и протча, что в ходу было. Пустяшно, конечно,

дело, копеечно, а всё разоставок при случае. Прокопьич недолго зажился. Тут братья-сёстры уж понуждать Катю стали:

— Теперь тебе заневолю надо замуж выходить. Как ты одна жить будешь?

Катя их обрезала:

— Не ваша печаль. Никакого мне вашего жениха не надо. Придёт Данилушко. Выучится в горе и придёт.

Братья-сёстры руками на неё машут:

— В уме ли ты, Катерина? Эдакое и говорить грех! Давно умер человек, а она его ждёт! Гляди, ещё блазнить станет.

— Не боюсь, — отвечает, — этого.

Тогда родные спрашивают:

— Чем ты хоть жить-то станешь?

— Об этом, — отвечает, — тоже не заботьтесь. Продержусь одна.

Братья-сёстры так поняли, что от Прокопьича деньжонки остались, и опять за своё:

— Вот и вышла дура! Коли деньги есть, мужика беспременно в доме надо. Неровён час — поохотится кто за деньгами. Свернут тебе башку, как курёнку. Только и свету видела.

— Сколько, — отвечает, — на мою долю положено, столько и увижу.

Братья-сёстры долго ещё шумели. Кто кричит, кто уговаривает, кто плачет, а Катя заколодила своё:

— Продержусь одна. Никакого вашего жениха не надо. Давно у меня есть.

Осердились, конечно, родные:

— В случае, к нам и глаз не показывай!

— Спасибо, — отвечает, — братцы милые, сестрицы любезные! Помнить буду. Сами-то не забудьте — мимо похаживайте!

Смеётся, значит. Ну, родня и дверями хлоп.

Осталась Катя одна-одинёшенька. Поплакала, конечно, сперва, потом и говорит:

— Врёшь! Не поддамся!

Вытерла слёзы и по хозяйству занялась. Мыть да скоблить — чистоту наводить. Управилась — и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок наводить стала. Что ей не нужно, то подальше, а что постоянно требуется, то под руку. Навела так-то порядок и хотела за работу садиться.

«Попробую сама хоть одну бляшку обточить».

Хватилась, а камня подходящего нет. Обломки Данилушковой дурман-чаши остались, да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны. У Прокопьича камня, конечно, много было. Только Прокопьич до смерти на больших работах си-

дел. Ну, и камень всё крупный. Обломышки да кусочки все подобрались — порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает: «Надо, видно, сходить на руднишных отвалах поискать. Не попадёт ли подходящий камешок».

От Данилы, да и от Прокопьича, она слыхала, что они у Змеиной горки брали. Вот туда и пошла.

На Гумёшках, конечно, всегда народ: кто руду разбирает, кто возит. Глядят на Катю-то — куда она с корзинкой пошла. Кате это нелюбо, что на неё зря глаза пялят. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать, обошла горку-то. А там ещё лес рос. Вот Катя по этому лесу и забралась на самую Змеиную горку да тут и села. Горько ей стало — Данилушку вспомнила. Сидит на камне, а слёзы так и бегут. Людей нет, лес кругом — она и не сторожится. Так слёзы на землю и каплют. Поплакала, глядит — у самой ноги малахит-камень обозначился, только весь в земле сидит. Чем его возьмёшь, коли ни кайлы, ни лома? Катя всё ж таки пошевелила его рукой. Показалось, что камень не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла сколько можно, стала вышатывать. Камень и подался. Как хрупнуло снизу, — ровно

сучок обломился. Камешок небольшой, вроде плитки. Толщиной пальца в три, шириной в ладонь, а длиной не больше двух четвертей. Катя даже подивилась:

— Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько бляшек выйдет. И потери самый пустяк.

Принесла камень домой и сразу занялась распиливать. Работа не быстрая, а Кате ещё надо по домашности управляться. Глядишь, весь день в работе, и скучать некогда. Только как за станок садиться, всё про Данилушку вспомнит:

— Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то да Прокопьичевом месте сидит!

Нашлись, конечно, охальники. Как без этого… Ночью под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней и перелезли к ней в ограду. Попугать хотели али и ещё что их дело, только все выпивши. Катя ширкает пилой-то и не слышит, что у ней в сенках люди. Услышала, когда уж в избу ломиться стали:

— Отворяй, мертвякова невеста! Принимай живых гостей!

Катя сперва уговаривала их:

— Уходите, ребята!

Ну, им это ничего. Ломятся в дверь, того и гляди сорвут. Тут Катя скинула крючок, расхлобыснула

двери и кричит:

— Заходи, нето. Кого первого лобанить?

Парни глядят, а она с топором.

— Ты, — говорят, — без шуток!

— Какие, — отвечает, — шутки! Кто за порог, того и по лбу.

Парни, хоть пьяные, а видят — дело не шуточное. Девка возрастная, оплечье крутое, глаз решительный, и топор, видать, в руках бывал. Не посмели ведь войти-то. Пошумели-пошумели, убрались да ещё сами же про это рассказали. Парней и стали дразнить, что они трое от одной девки убежали. Им это не полюбилось, конечно, они и сплели, будто Катя не одна была, а за ней мертвяк стоял.

— Да такой страшный, что заневолю убежишь.

Парням поверили — не поверили, а по народу с той поры пошло:

— Нечисто в этом доме. Недаром она одна-одинёшенька живёт.

До Кати это донеслось, да она печалиться не стала. Ещё подумала: «Пущай плетут. Мне так-то и лучше, если побаиваться станут. Другой раз, глядишь, не полезут».

Соседи и на то дивятся, что Катя за станком сидит. На смех её подняли:

— За мужичье ремесло принялась! Что у неё выйдет!

Это Кате солонее пришлось. Она и сама подумывала: «Выйдет ли у меня у одной-то?» Ну, всё ж таки с собой совладала: «Базарский товар! Много ли надо? Лишь бы гладко было… Неуж и того не осилю?»

Распилила Катя камешок. Видит — узор на редкость пришёлся, и как намечено, в котором месте поперёк отпилить. Подивилась Катя, как ловко всё пришлось. Поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Только то и в брос, что на сточку пришлось.

Наделала Катя бляшек, ещё раз подивилась, какой выходной камешок оказался, и стала смекать, куда сбыть поделку. Прокопьич такую мелочь в город, случалось, возил и там всё в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала. Вот она и придумала сходить в город.

Затворила избушку и пошла пешочком. В Полевой и не заметили, что она в город убралась. Узнала Катя, где тот хозяин, который у Прокопьича поделку принимал, и заявилась прямо в лавку. Глядит — полно тут всякого камня, а мала-

хитовых бляшек целый шкап за стеклом. Народу в лавке много. Кто покупает, кто поделку сдаёт. Хозяин строгий да важный такой.

Катя сперва и подступить боялась, потом насмелилась и спрашивает:

— Не надо ли малахитовых бляшек?

Хозяин пальцем на шкап указал:

— Не видишь, сколь у меня добра этого?

Мастера, которые работу сдавали, припевают ему:

— Много ноне на эту поделку мастеров развелось. Только камень переводят. Того не понимают, что для бляшки узор хороший требуется.

Один-то мастер из полевских. Он и говорит хозяину потихоньку:

— Недоумок эта девка. Видели её соседи за станком-то. Вот, поди, настряпала.

Хозяин тогда и говорит:

— Ну-ко, покажи, с чем пришла?

Катя и подала ему бляшку. Поглядел хозяин, потом на Катю уставился и говорит:

— У кого украла?

Кате, конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила:

— Какое твоё право, не знаючи человека, эдак про него говорить? Гляди вот, если не слепой! У

кого можно столько бляшек на один узор украсть? Ну-ко, скажи! — и высыпала на прилавок всю свою поделку.

Хозяин и мастера видят — верно, на один узор. И узор редкостный. Будто из середины-то дерево выступает, а на ветке птица сидит и внизу тоже птица. Явственно видно и сделано чисто. Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже поглядеть, только хозяин сразу все бляшки прикрыл. Нашёл заделье.

— Не видно кучей-то. Сейчас я их под стекло разложу. Тогда и выбирайте, что кому любо. — А сам Кате говорит: — Иди вон в ту дверь. Сейчас деньги получишь.

Пошла Катя, и хозяин за ней. Затворил дверку, спрашивает:

— Почём сдаёшь?

Катя слыхала от Прокопьича цены. Так и сказала, а хозяин давай хохотать:

— Что ты! Что ты! Такую-то цену я одному полевскому мастеру Прокопьичу платил да ещё его приёмышу Данилу. Да ведь то мастера были!

— Я, — отвечает, — от них и слыхала. Из той же семьи буду.

— Вон что! — удивился хозяин. — Так это, видно, у тебя Данилова работа осталась?

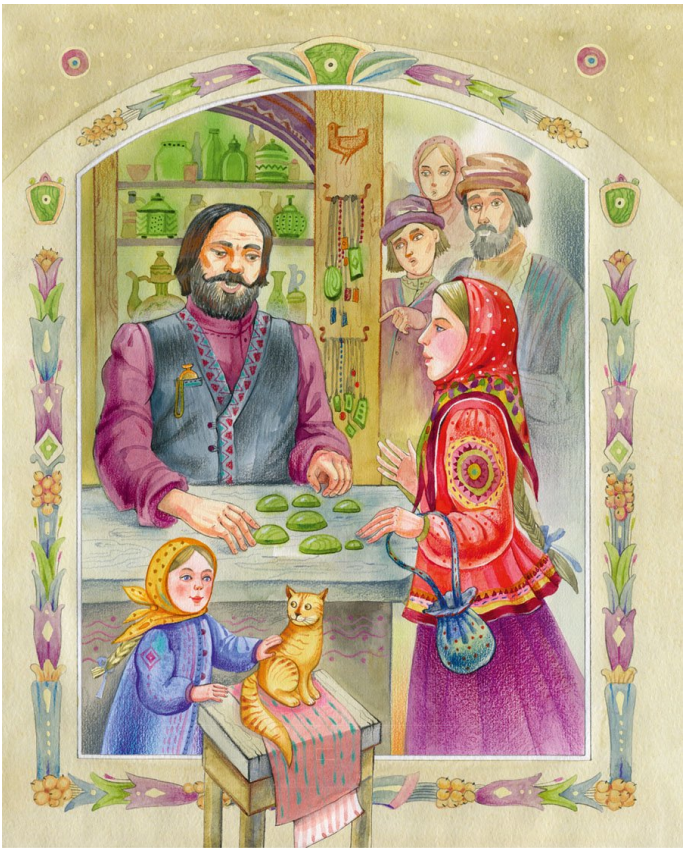
— Нет, — отвечает, — моя.

— Камень, может, от него остался?

— И камень сама добывала.

Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному да ещё говорит:

— Вперёд случится такое сделать, неси. Безотказно принимать буду и цену положу настоящую.



Ушла Катя, радуется — сколько денег получила! А хозяин те бляшки под стекло выставил. Покупатели набежали:

— Сколько?

Он, конечно, не ошибся — в десять раз против купленного назначил, да и наговаривает:

— Такого узора ещё не бывало. Полевского мастера Данилы работа. Лучше его не сделать.

Пришла Катя домой, а сама всё дивится.

— Вот штука какая! Лучше всех мои бляшки оказались! Хорош камешок попался. Случай, видно, счастливый подошёл. — Потом и хватилась:

— А не Данилушко ли это мне весточку подал?

Подумала так, скрутилась и побежала на Змеиную горку.

А тот малахитчик, который хотел Катю перед городским купцом оконфузить, тоже домой воротился. Завидно ему, что у Кати такой редкостный узор получился. Он и придумал:

— Надо поглядеть, где она камень берёт. Не новое ли какое место ей Прокопьич либо Данило указали?

Увидел, что Катя куда-то побежала, он и пошёл за ней. Видит — Гумёшки она обошла стороной и куда-то за Змеиную горку пошла. Мастер туда же, а сам думает: «Там лес. По лесу-то к самой ямке

прокрадусь».

Зашли в лес. Катя вовсе близко и нисколько не сторожится, не оглядывается, не прислушивается. Мастер радуется, что ему так легонько достанется новое место. Вдруг в сторонке что-то зашумело, да так, что мастер даже испугался. Остановился. Что такое? Пока он так-то разбирался, Кати и не стало. Бегал он, бегал по лесу. Еле выбрался к Северскому пруду, — версты, поди, за две от Гумёшек.

Катя сном дела не знала, что за ней подглядывают. Забралась на горку, к тому самому месту, где первый камешок брала. Ямка будто побольше стала, а сбоку опять такой же камешок видно. Пошатала его Катя, он и отстал. Опять, как сучок, хрупнул. Взяла Катя камешок и заплакала-запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают:

— На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул, — и протча тако…

Наревелась, будто полегче стало, стоит — задумалась, в руднишную сторону глядит. Место тут вроде полянки. Кругом лес густой да высокий, а в руднишную сторону помельче пошёл. Время на закате. По низу от лесу на полянке темнеть стало, а в то место — к руднику солнышко пришлось. Так

и горит это место, и все камешки на нём блестят.

Кате это любопытно показалось. Хотела поближе подойти. Шагнула, а под ногой и схрупало. Отдёрнула она ногу, глядит — земли-то под ногами нет. Стоит она на каком-то высоком дереве, на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы меж деревьями внизу видно травы да цветы, и вовсе они на здешние не походят.

Другая бы на Катином месте перепугалась, крик-визг подняла, а она вовсе о другом подумала:

«Вот она, гора, раскрылась! Хоть бы на Данилушку взглянуть!»

Только подумала и видит через прогалы — идёт кто-то внизу, на Данилушку походит и руки вверх тянет, будто сказать что хочет. Катя свету невзвидела, так и кинулась к нему… с дерева-то! Ну, а пала тут же на землю, где стояла. Образумилась, да и говорит себе:

— Верно, что блазнить мне стало. Надо поскорее домой идти.

Идти надо, а сама сидит да сидит, всё ждёт, не вскроется ли ещё гора, не покажется ли опять Данилушко. Так до потёмок и просидела. Тогда только и домой пошла, а сама думает: «Повидала

всё ж таки Данилушку».

Тот мастер, который за Катей подглядывал, домой к этому времени выбежал. Поглядел — избушка у Кати заперта. Он и притаился — посмотрю, что она притащила. Видит — идёт Катя, он и встал поперёк дороги:

— Ты куда это ходила?

— На Змеиную, — отвечает.

— Ночью-то? Что там делать?

— Данилу повидать…

Мастер так и шарахнулся, а на другой день по заводу шепотки поползли:

— Вовсе рехнулась мертвякова невеста. По ночам на Змеиную ходит, покойника ждёт. Как бы ещё завод не подожгла с малого-то ума.

Братья-сёстры прослышали, опять прибежали, давай строжить да уговаривать Катю. Только она и слушать не стала. Показала им деньги и говорит:

— Это, думаете, откуда у меня? У хороших мастеров не берут, а мне за перводелку столько отвалили! Почему так?

Братья слышали про её-то удачу и говорят:

— Случай счастливый вышел. О чём тут говорить.

— Таких, — отвечает, — случаев не бывало. Это

мне Данило сам такой камень подложил и узор вывел.

Братья смеются, сёстры руками машут:

— И впрямь рехнулась! Надо приказчику сказать. Как бы всамделе завод не подожгла!

Не сказали, конечно. Постыдились сестру-то выдавать. Только вышли, да и сговорились:

— Надо за Катериной глядеть. Куда пойдёт — сейчас же за ней бежать.

А Катя проводила родню, двери заперла да принялась новый-то камешок распиливать. Пилит да загадывает:

— Коли такой же издастся, значит, не поблазнило мне — видала я Данилушку.

Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя всё за станком сидит. Одна сестра проснулась в эту пору, увидела огонь в избе, подбежала к окошку, смотрит сквозь щёлку в ставне и дивится:

— И сон её не берёт! Наказанье с девкой!

Отпилила Катя досочку — узор и обозначился. Ещё лучше того-то. Птица с дерева книзу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперёк распилить. Катя

тут и думать не стала. Схватилась, да и побежала куда-то. Сестра за ней. Дорогой-то постучала к братьям — бегите, дескать, скорей. Выбежали братья, ещё народ сбили. А уже светленько стадо. Глядят — Катя мимо Гумёшек бежит. Туда все и кинулись, а она, видно, и не чует, что народ за ней. Пробежала рудник, потише пошла в обход Змеиной горки. Народ тоже призадержался — посмотрим, дескать, что она делать будет.

Катя идёт, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась, и темно ещё тут. Катя и думает: «Видно, я в гору попала».

Родня да народ той порой переполошились:

— Куда она девалась? Сейчас близко была, а не стало!

Бегают, суетятся. Кто на горку, кто кругом горки. Перекликаются друг с дружкой: «Там не видно?»

А Катя ходит в каменном лесу и думает, как ей Данилу найти. Походила-походила, да и закричала:

— Данило, отзовись!

По лесу голк пошёл. Сучья запостукивали: «Нет его! Нет его! Нет его!»

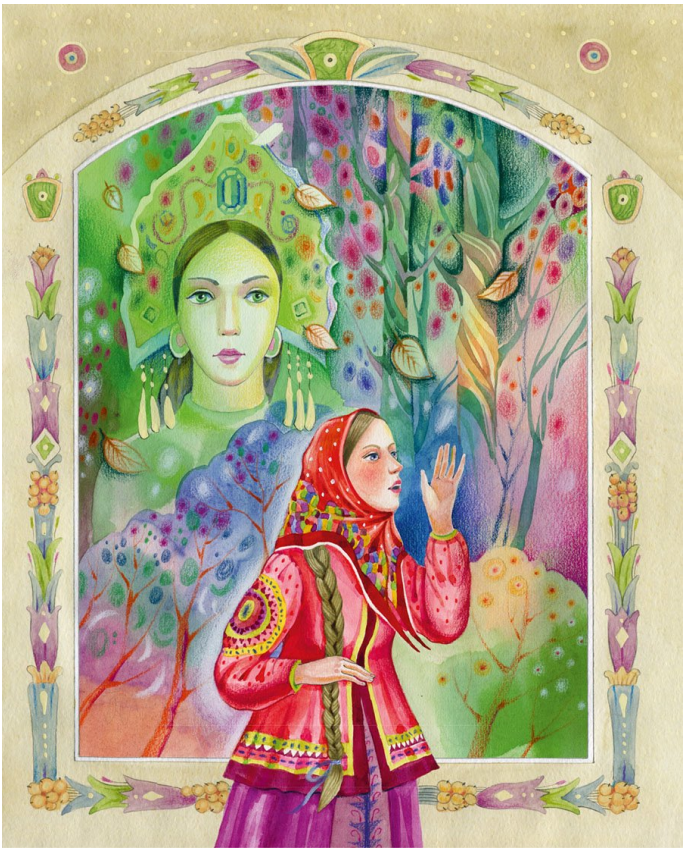
Только Катя не унялась:

— Данило, отзовись!

По лесу опять: «Нет его! Нет его! Нет его!» Катя снова:

— Данило, отзовись!

Тут Хозяйка горы перед Катей и показалась.



— Ты зачем, — спрашивает, — в мой лес забралась? Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? Любой бери да уходи поскорее!

Катя тут и говорит:

— Не надо мне твоего мёртвого камня! Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? Какое твоё право чужих женихов сманивать!

Ну, смелая девка. Прямо на горло наступать стала. Это Хозяйке-то! А та ничего, стоит спокойненько:

— Ещё что скажешь?

— А то и скажу — подавай Данилу! У тебя он…

Хозяйка расхохоталась, да и говорит:

— Ты, дура-девка, знаешь ли, с кем говоришь?

— Не слепая, — кричит, — вижу. Только не боюсь тебя, разлучница! Нисколечко не боюсь! Сколь ни хитро у тебя, а ко мне Данило тянется. Сама видала. Что, взяла?

Хозяйка тогда и говорит:

— А вот послушаем, что он сам скажет.

До того в лесу тёмненько было, а тут сразу ровно он ожил. Светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно другого краше. В прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные, и пчёлки золотые, как искорки, над теми цветами. Ну, такая, слышь-ко, красота, что век бы

не нагляделся. И видит Катя: бежит по этому лесу Данило. Прямо к ней. Катя навстречу кинулась:

— Данилушко!

— Подожди, — говорит Хозяйка, — и спрашивает: — Ну, Данило-мастер, выбирай — как быть? С ней пойдёшь — всё моё забудешь, здесь останешься — её и людей забыть надо.

— Не могу, — отвечает, — людей забыть, а её каждую минуту помню.

Тут Хозяйка улыбнулась светленько и говорит:

— Твоя взяла, Катерина! Бери своего мастера. За удалость да твёрдость твою вот тебе подарок. Пусть у Данилы всё моё в памяти останется. Только вот это пусть накрепко забудет! — И полянка с диковинными цветами сразу потухла. — Теперь ступайте в ту сторону, — указала Хозяйка да ещё упредила: — Ты, Данило, про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришёл за тем, что теперь забыл.



Поклонилась тут Катя:

— Прости на худом слове!

— Ладно, — отвечает, — что каменной сделается! Для тебя говорю, чтоб остуды у вас не было.

Пошли Катя с Данилой по лесу, а он всё темней да темней, и под ногами неровно — бугры да ямки. Огляделись, а они на руднике — на Гумёшках. Время ещё раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пробрались домой. А те, что за Катей побежали, всё ещё по лесу бродят да перекликаются: «Там не видно?»

Искали-искали, не нашли. Прибежали домой, а Данило у окошка сидит.

Испугались, конечно. Чураются, заклятья разные говорят. Потом видят — трубку Данило набивать стал. Ну и отошли.

«Не станет же, — думают, — мертвяк трубку курить».

Подходить стали один по одному. Глядят — и Катя в избе. У печки толкошится, а сама веселёхонька. Давно её такой не видали. Тут и вовсе осмелели, в избу вошли, спрашивать стали:

— Где это тебя, Данило, давно не видно?

— В Колывань, — отвечает, — ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу, будто лучше его нет по работе. Вот и заохотило

поучиться маленько. Тятенька покойный отговаривал. Ну, а я посамовольничал — тайком ушёл, Кате вон только сказался.

— Пошто, — спрашивают, — чашу свою разбил?

Данило притуманился маленько, как о чаше помянули, потом говорит:

— Ну, мало ли… С вечорки пришёл… Может, выпил лишка… Не по мыслям пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое, поди, случалось. О чём говорить.

Тут братья-сёстры к Кате приступать стали, почему не сказала про Колывань-то. Только от Кати тоже немного добились. Сразу отрезала:

— Чья бы корова мычала, моя бы молчала. Мало я вам сказывала, что Данило живой. А вы что? Женихов мне подсовывали да с пути сбивали! Садитесь-ка лучше за стол. Испеклась у меня чирла-то.

На том дело и кончилось. Посидела родня, поговорила о том-другом, разошлась. Вечером пошёл Данило к приказчику объявиться. Тот пошумел, конечно. Ну, всё-таки уладили дело.

Вот и стали Данило с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили, согласно. По работе-то Данилу все горным мастером звали.

Против него никто не мог сделать. И достаток у них появился. Только нет-нет — и задумается Данило. Катя понимала, конечно, о чём, да помалкивала.



Хрупкая веточка



У Данилы с Катей, — это которая своего жениха у Хозяйки горы вызволила, — ребятишек многонько народилось. Восемь, слышь-ко, человек, и все парнишечки. Мать-то не раз ревливала: хоть бы одна девчонка на поглядку. А отец знай похохатывает:

— Такое, видно, наше с тобой положенье.

Ребятки здоровеньки росли. Только одному не посчастливилось. То ли с крылечка, то ли ещё откуда свалился и себя повредил: горбик у него расти стал. Баушки правили, понятно, да толку не вышло. Так горбатенькому и пришлось на белом свете маяться.

Другие ребятишки, — я так замечал, — злые выходят при таком-то случае, а этот ничего — весёленький рос и на выдумки мастер. Он третьим в семье-то приходился, а все братья слушались его да спрашивали:

— Ты, Митя, как думаешь? По-твоему, Митя, к

чему это?

Отец с матерью и те частенько покрикивали:

— Митюшка! Погляди-ко! Ладно, на твой глаз?

— Митяйко, не приметил, куда я воробы поставила?

И то Митюньке далось, что отец смолоду ловко на рожке играл. Этот тоже пикульку смастерит, так она у него ровно сама песню выговаривает.

Данило по своему мастерству всё-таки зарабатывал ладно. Ну, и Катя без дела не сиживала. Вот, значит, и поднимали семью, за куском в люди не ходили. И об одежонке ребячьей Катя заботилась. Чтоб всем справа была: пимёшки там, шубейки и протча. Летом-то, понятно, и босиком ладно — своя кожа, не куплена. А Митюньке, как он всех жальчее, и сапожнёшки были. Старшие братья этому не завидовали, а малые сами матери говорили:

— Мамонька, пора, поди, Мите новые сапоги заводить. Гляди — ему на ногу не лезут, а мне бы как раз пришлись.

Свою, видишь, ребячью хитрость имели, как бы поскорее Митины сапожнёшки себе пристроить. Так у них всё гладенько и катилось. Соседки издивовались прямо:

— Что это у Катерины за робята! Никогда у них

и драчишки меж собой не случится.

А это всё Митюнька — главная причина. Он в семье-то ровно огонёк в лесу: кого развеселит, кого обогреет, кого на думки наведёт.

К ремеслу своему Данило не допускал ребятишек до времени.

— Пускай, — говорит, — подрастут сперва. Успеют ещё малахитовой-то пыли наглотаться.

Катя тоже с мужем в полном согласье — рано ещё за ремесло садить. Да ещё придумали поучить ребятишек, чтоб, значит, читать-писать, цифру понимать. Школы по тогдашнему положению не было, и стали старшие-то братья бегать к какой-то мастерице. И Митюнька с ними. Те ребята понятливые, хвалила их мастерица, а этот вовсе на отличку. В те годы по-мудрёному учили, а он с лёту берёт. Не успеет мастерица показать — он обмозговал. Братья ещё склады толмили, а он уж читал, знай слова лови. Мастерица не раз говаривала:

— Не бывало у меня такого выученика.

Тут отец с матерью возьми и погордись маленько: завели Митюньке сапожки поформеннее. Вот с этих сапожек у них полный переворот жизни и вышел.

В тот год, слышь-ко, барин на заводе жил. Про-

пикнул, видно, денежки в Сам-Петербурхе, вот и приехал на завод — не выскребу ли, дескать, ещё сколь-нибудь.

При таком-то деле, понятно, как денег не найти, ежели с умом распорядиться. Одни приказные да приказчик сколько воровали. Только барин вовсе в эту сторону и глядеть не умел.

Едет это он по улице и углядел — у одной избы трое робятишек играют, и все в сапогах. Барин им и маячит рукой-то: идите сюда.

Митюньке хоть не приводилось до той поры барина видать, а признал небось. Лошади, вишь, отменные, кучер по форме, коляска под лаком и седок гора-горой, жиром заплыл, еле ворочается, а перед брюхом палку держит с золотым набалдашником.

Митюнька оробел маленько, всё-таки ухватил братишек за руки и подвёл поближе к коляске, а барин хрипит:

— Чьи такие?

Митюнька, как старший, объясняет спокойненько:

— Камнереза Данилы сыновья. Я вот Митрий, а это мои братики малые.

Барин аж посинел от этого разговору, чуть не задохся, только пристанывает:

— Ох, ох! что делают! что делают! Ох, ох!

Потом, видно, провздыхался и заревел медведем:

— Это что? А? — А сам палкой-то на ноги ребятам показывает. Малые, понятно, испужались, к воротам кинулись, а Митюнька стоит и никак в толк взять не может, о чём его барин спрашивает.

Тот заладил своё, недоладом орёт:

— Это что?

Митюнька вовсе оробел, да и говорит:

— Земля.

Барина тут как параличом хватило, захрипел вовсе:

— Хр-р, хр-р! До чего дошло! До чего дошло! Хр-р, хр-р.

Тут Данило сам из избы выбежал, только барин не стал с ним разговаривать, ткнул кучера набалдашником в шею — поезжай!

Этот барин не твёрдого ума был. Смолоду за ним такое замечалось, к старости и вовсе несамостоятельной стал. Напустится на человека, а потом и сам объяснить не умеет, что ему надо. Ну, Данило с Катериной и подумали — может, обойдётся дело, забудет про ребятишек, пока домой доедет. Только не тут-то было: не забыл барин ребячьих

сапожишек. Первым делом на приказчика насел.

— Ты куда глядишь? У барина башмаков купить не на что, а крепостные своих ребятишек в сапогах водят? Какой ты после этого приказчик?

Тот объясняет:

— Вашей, дескать, барской милостью Данило на оброк отпущен и сколько брать с него — тоже указано, а как платит он исправно, я и думал…

— А ты, — кричит, — не думай, а гляди в оба. Вон у него что завелось! Где это видано? Вчетверо ему оброк назначить.

Потом призвал Данилу и сам объяснил ему новый оброк. Данило видит — вовсе несуразица и говорит:

— Из воли барской уйти не могу, а только оброк такой тоже платить не в силу. Буду работать, как другие, по вашему барскому приказу.

Барину, видать, это не по губе. Денег и без того нехватка, — не до каменной поделки. В пору и ту продать, коя от старых годов осталась. На другую какую работу камнереза поставить тоже не подходит. Ну, и давай рядиться. Сколько всё-таки ни отбивался Данила, оброк ему вдвое барин назначил, а не хошь — в гору. Вот куда загнулось!

Понятное дело, худо Данилу с Катей пришлось. Всех прижало, а робятам хуже всего: до возрасту

за работу сели. Так и доучиться им не довелось. Митюнька — тот виноватее всех себя считал — сам так и лезет на работу. Помогать, дескать, отцу с матерью буду, а те опять своё думают: «И так-то он у нас нездоровый, а посади его за малахит — вовсе изведётся. Потому — кругом в этом деле худо. Присадочный вар готовить пыли не продохнёшь, щебёнку колотить — глаза береги, а олово крепкой водкой на полер разводить — парами задушит». Думали, думали и придумали отдать Митюньку по гранильному делу учиться.

Глаз, дескать, хваткий, пальцы гибкие и силы большой не надо — самая по нему работа.

Гранильщик, конечно, у них в родстве был. К нему и пристроили, а он рад-радёхонек, потому знал — парнишечко смышлёный и к работе не ленив.

Гранильщик этот так себе средненький был, второй, а то и третьей цены камешок делал. Всё-таки Митюнька перенял от него, что тот умел. Потом этот мастер и говорит Данилу:

— Надо твоего парнишка в город отправить. Пущай там дойдёт до настоящей точки. Шибко рука у него ловкая.

Так и сделали. У Данилы и городе мало ли знакомства было по каменному-то делу. Нашёл

кого надо и пристроил Митюньку. Попал он тут к старому мастеру по каменной ягоде. Мода, видишь, была из камней ягоды делать. Виноград там, смородину, малину и протча. И на всё установ имелся. Чёрну, скажем, смородину из агату делали, белу — из дурмашков, клубнику — из сургучной яшмы, княженику — из мелких щерловых шаричков клеили. Однем словом, всякой ягоде свой камень. Для корешков да листочков тоже свой порядок был: кое из офата, кое из малахита либо из орлеца и там ещё из какого-нибудь камня.

Митюнька весь этот установ перенять перенял, а нет-нет и придумает по-своему. Мастер сперва ворчал, потом похваливать стал:

— Пожалуй, так-то живее выходит.

Напоследок прямо объявил:

— Гляжу я, парень, шибко большое твоё дарование к этому делу. Впору мне, старику, у тебя учиться. Вовсе ты мастером стал да ещё с выдумкой.



Потом помолчал маленько, да и наказывает:

— Только ты, гляди, ходу ей не давай! Выдумке-то! Как бы за неё руки не отбили. Бывали такие случаи.

Митюнька, известно, молодой — безо внимания к этому. Ещё посмеивается:

— Была бы выдумка хорошая. Кто за неё руки отбивать станет?

Так вот и стал Митюха мастером, а ещё вовсе молодой: только-только ус пробиваться стал. По заказам он не скучал, всегда у него работы полно. Лавочники по каменному делу смекнули живо, что от этого парня большим барышом пахнет, — один перед другим заказы ему дают, успевай только. Митюха тут и придумал:

— Пойду-ко я домой. Коли мою работу надо, так меня и дома найдут. Дорога недалёкая, и груз не велик — материал привезти да поделку забрать.

Так и сделал. Семейные обрадовались, понятно: Митя пришёл. Он тоже повеселить всех желает, а самому не сладко. Дома-то чуть не цельная малахитовая мастерская стала. Отец и двое старших братьев за станками в малухе сидят и младшие братья тут же: кто на распиловке, кто на шлифовке. У матери на руках долгожданная девчушка-годовушка трепещется, а радости в семье

нет. Данило уж вовсе стариком глядит, старшие братья покашливают, да и на малых смотреть невесело. Бьются, бьются, а всё в барский оброк уходит.

Митюха тут и заподумывал: всё, дескать, из-за тех сапожнёшек вышло.

Давай скорее своё дело налаживать. Оно хоть мелкое, а станков к нему не один, струментишко тоже требуется. Мелочь всё, а место и ей надо.

Пристроился в избе против окошка и припал к работе, а про себя думает: «Как бы добиться, чтоб из здешнего камня ягоды точить. Тогда и младших братишек можно было бы к этому делу пристроить». Думает, думает, а пути не видит. В наших краях, известно, хризолит да малахит больше попадаются. Хризолит тоже дёшево не добудешь, да и не подходит он, а малахит только на листочки и то не вовсе годится: оправки либо подклейки требует.

Вот раз сидит за работой. Окошко перед станком по летнему времени открыто. В избе никого больше нет. Мать по своим делам куда-то ушла, малыши разбежались, отец со старшими в малухе сидят. Не слышно их. Известно, над малахитом-то песни не запоёшь и на разговор не тянет.

Сидит Митюха, обтачивает свои ягоды из ку-

пецкого материала, а сам всё о том же думает: «Из какого бы вовсе дешёвого здешнего камня такую же поделку гнать?»

Вдруг просунулась в окошко какая-то не то женская, не то девичья рука, — с кольцом на пальце и в зарукавье, — и ставит прямо на станок Митюньке большую плитку змеевика, а на ней, как на подносе, соковина дорожная.

Кинулся Митюха к окошку — нет никого, улица пустёхонька, ровно никто и не прохаживал.

Что такое? Шутки кто шутит али наваждень какое? Оглядел плитку да соковину и чуть не заскакал от радости: такого материала возами вози, а сделать из него, видать, можно, если со сноровкой выбрать да постараться. Что только?

Стал тут смекать, какая ягода больше подойдёт, а сам на то место уставился, где рука-то была. И вот опять она появилась и кладёт на станок репейный листок, а на нём три годных веточки: черёмуховая, вишнёвая и спелого-спелого крыжовника.

Тут Митюха не удержался, на улицу выбежал дознаться, кто это над ним шутки строит. Оглядел всё — никого, как вымерло. Время — самая жарынь. Кому в эту пору на улице быть?

Постоял-постоял, подошёл к окошку, взял

со станка листок с веточками и разглядывать стал. Ягоды настоящие, живые, только то диво — откуда вишня взялась? С черёмухой просто, крыжовнику тоже в господском саду довольно, а эта откуда, коли в наших краях такая ягода не растёт, а будто сейчас сорвана?

Полюбовался так на вишни, а всё-таки крыжовник ему милее пришёлся и к матерьялу ровно больше подходит. Только подумал — рука-то его по плечу и погладила: «Молодец, дескать! Понимаешь дело!»

Тут уж слепому ясно, чья это рука. Митюха в Полевой вырос, сколько-нибудь раз слыхал про Хозяйку горы. Вот он и подумал — хоть бы сама показалась. Ну, не вышло. Пожалела, видно, горбатенького парня растревожить своей красотой — не показалась.

Занялся тут Митюха соком да змеевиком. Немало перебрал. Ну, выбрал и сделал со смекалкой. Попотел. Ягодки-то крыжовника сперва половинками обточил, потом внутре-то выемки наладил да ещё где надо желобочки прошёл, где опять узелочки оставил, склеил половинки да тогда их начисто и обточил. Живая ягодка-то вышла. Листочки тоже тонко из змеёвки выточил, а на корешок ухитрился колючки тонёхонькие

пристроить. Однем словом, сортовая работа. В каждой ягодке ровно зёрнышки видно и листочки живые, даже маленько с изъянами: на одном дырки жучком будто проколоты, на другом опять ржавые пятнышки пришлись. Ну, как есть настоящие.

Данило с сыновьями хоть по другому камню работали, а тоже в этом деле понимали. И мать по камню рабатывала. Все налюбоваться не могут на Митюхину работу. И то им диво, что из простого змеевика да дорожного соку такая штука вышла. Мите и самому любо. Ну, как — работа! Тонкость. Ежели кто понимает, конечно.

Из соку да змеевику Митя много потом делал. Семье-то шибко помог. Купцы, видишь, не обегали этой поделки, как за настоящий камень платили, и покупатель в первую голову Митюхину работу выхватывал, потому на отличку. Митюха, значит, и гнал ягоду. И черёмуху делал, и вишню, и спелый крыжовник, а первую веточку не продавал — себе оставил. Посыкался отдать девчонке одной, да всё сумленье брало. Девчонки, видишь, не отворачивались от Митюхина окошка. Он хоть горбатенький, а парень с разговором да выдумкой, и ремесло у него занятное, и не скупой: шаричков для бусок, бывало, горстью

давал. Ну, девчонки нет-нет и подбегут, а у этой чаще всех заделье находилось перед окошком — зубами поблестеть, косой поиграть. Митюха и хотел отдать ей свою веточку, да всё боялся.

— Ещё на смех девчонку поднимут, а то и сама за обиду почтёт.



А тот барин, из-за которого поворот жизни случился, всё ещё на земле пыхтел да отдувался. В том году он дочь свою просватал за какого-то там князя ли купца и придано ей собирал. Полевской приказчик и вздумал подслужиться. Митину-то веточку он видал и тоже, видно, понял, какая это штука. Вот и послал своих охлёстов с наказом:

— Если отдавать не будет, отберите силой.

Тем что? Дело привычное. Отобрали у Мити веточку, принесли, а приказчик её в бархатну коробушечку. Как барин приехал в Полевую, приказчик сейчас:

— Получите, сделайте милость, подарочек для невесты. Подходящая штучка.

Барин поглядел, тоже похвалил сперва-то, потом и спрашивает:

— Из каких камней делано и сколько камни стоят?

Приказчик и отвечает:

— То и удивительно, что из самого простого материалу: из змеевику да шлаку.

Тут барин сразу задохся:

— Что? Как? Из шлаку? Моей дочери?

Приказчик видит — неладно выходит, на мастера всё поворотил:

— Это он, шельмец, мне подсунул да ещё наска-

зал четвергов с неделю, а то бы я разве посмел.

Барин знай хрипит:

— Мастера тащи! Тащи мастера!

Приволокли, понятно, Митюху, и, понимаешь, узнал ведь его барин.

«Это тот… в сапогах-то который…»

С палкой на Митюху кинулся.

— Как ты смел?

Митюха сперва и понять не может, потом раскумекал и прямо говорит:

— Приказчик у меня силом отобрал, пускай он и отвечает.

Только с барином какой разговор, всё своё хрипит:

— Я тебе покажу…

Потом схватил со стола веточку, хлоп её на пол и давай-ко топтать. В пыль, понятно, раздавил.

Тут уж Митюху за живое взяло, затрясло даже. Оно и то сказать, — кому полюбится, коли твою дорогую выдумку диким мясом раздавят?

Митюха схватил баринову палку за тонкий конец да как хряснет набалдашником по лбу, так барин на пол и сел, и глаза выкатил.

И вот диво — в комнате приказчик был и прислужников сколько хочешь, а все как окаменели, — Митюха вышел и куда-то девался. Так

и найти не могли, а поделку его и потом люди видали. Кто понимающий, те узнавали её.

И ещё заметочка вышла. Та девчонка, которая зубы-то мыла перед Митюхиным окошком, тоже потерялась, и тоже с концом.

Долго искали эту девчонку. Видно, рассудили по-своему-то, что её найти легче, потому далеко женщина от своих мест уходить не привычна. На родителей её наступали:

— Указывай место!

А толку всё-таки не добились.

Данилу с сыновьями прижимали, конечно, да, видно, оброку большого пожалели — отступили. А барин ещё сколько-то задыхался, всё-таки вскорости его жиром задавило.



Травяная западёнка



Это не при нашем заводе было, а на Сысертской половине. И не вовсе в давних годах. Мои-то старики уж в подлетках в заводе бегали. Кто на шаровке, кто на подсыпке, а то в слесарке либо в кузне. Ну, мало ли куда малолетков при крепости загоняли.

Тогда этот разговор про травяную западёнку и прошёл.

Так, сказывают, дело-то было.

Турчаниновские наследники промотались и половину заводов продали барину Саломирскову. Тут у них неразбериха и пошла.

Продать продали, а деньги с завода Турчаниновым охота получать по-старому. Саломирсков опять, наоборот, говорит:

— Я главный хозяин — мне и получка вся! А вам — сколь выделю.

Спорили-спорили, сговорились нанять сообща главного приказчика. Пущай, дескать, хозяйству-

ет как умеет, а нам бы деньги выдавал, сколько кому по частям причтётся.

Так-то, видно, им вольготнее показалось! Оно и то сказать: турчаниновски наследники сроду в заводском деле не мерекали, да и новый барин, видать, не мудрёнее достался. Он, сказывают, из каких-то царских ли, княжеских незаконных родов вышел. То ему и заводы купили, и заслуг всяких надавали.

Завсегда будто в белых штанах в обтяжку ходил, а на шапке от бусой лошади хвост.

В экой-то одёже в кричну либо сварочную не пойдёшь! Под домну и вовсе не суйся. Да новый барин об этом и не скучал. По своему понятию другое ремесло придумал: жеребцов по кругу на верёвке гонять.

У турчаниновских в ту пору барыня одна в головах ходила. Самая, сказать, умойная баба. Ей гору золота насыпь — и от той пыли не оставит. Увидела эта барыня — Саломирсков жеребцами забавляется. «Чем, — думает, — я хуже? Почище заведу!»

И точно, цельный конский завод на Щербаковке поставила и тоже давай жеребцов гонять.

Главный приказчик у них из нездешних случился. Паном почто-то его в глаза звали.

Ну, этот пан сперва барам семечек подсыпал. Поманил, значит. Которое продаст, которое заложит, руду под самым заводом брать велел, уголь чуть не на улицах жгут. Глядишь — и наскребёт деньжонок. Барам этого и надо. Разговорами себя тешат:

— Это поначалу так-то. Дальше лучше пойдёт.

Приказчик видит — уверились в него бары, взял да и жогнул их сколь мог. Наглухо, сукин сын, заводы в долги посадил, весь народ обездолил, а сам шапочку надел, да и в сторону.

— Прощайте-ко! Век бы на ваших жеребчиков да кобылок глядел, да недосуг мне. Два поместья купил — хозяевать надо.

Тут промеж бар чуть не драчишка случилась. Один другого винят, ни в чём сговориться не могут, суд завели. Вот тогда они и придумали с глупого-то ума у одних печей нарозно хозяйство вести. Одна половина одного приказчика поставила, другая — другого. И мелкое начальство эдак же. Один так велит, другой на своё поворачивает. Путали-путали народ, потом и народ поделили. Одни, значит, стали турчаниновски, други — саломирсковски. Однем словом, беспутица. А хуже всего это по земельному богатству пришлось.

Не о том забота, как бы найти да добыть, а как

бы что новенькое другому хозяину не показать. Всяк про себя смекал:

— Присудят в мою пользу — тогда и буду добывать из нового места.

У барина Саломирскова на ту пору главным щегарём был Санко Масличко. Мужичонко плутяга, до всего донюхается, и в делах понимал. Для приисковых и руднишных самый зловредный. А у турчаниновских щегарём был Яшка Зорко.

Этот вовсе зря на такое место угадал. Он, конечно, тоже смолоду по рудникам да приискам околачивался. Ну на смеху был.

Мужичище бык-быком, а рожа у него ровно нарошно придумана. Как свёкла краснёхонька, а по ней волосёшки белые кустичками. Ровно извёсткой наляпано по тем местам, где у людей волос растёт. И по голове эти же кустики прошли. За это и звали его Облезлым.

По-доброму-то пустяк это. Мало ли у человека какой изъян случится. Только Яшка шибко перед народом гордился. Дескать, я — приказный, а ты кто еси? Ну, Яшку и не любили. Да он ещё похвалялся перед руднишными.

— Меня, — кричит, — не проведёшь. Сдалека всяку вашу плутню разгляжу!

Даром что слепыш-слепышом. Еле мизюкал.

Носом по чернилу водил, как писать случалось. Рудобои за эту похвальбу-то и стали звать его ещё Зорком. Нет-нет — и поддёрнут:

— Наш Зорко небось рукавицу с шапкой не смешат. На аршин в землю видит.

Кто-то возьми да и дунь это слово барыне Турчаниновой в ухо. Та, известно, заполошная, — схватилась:

— Где такой объявился?

Ей сказали — в обмерщиках, дескать, на таком-то руднике.

Барыня призвала тут Яшку и спрашивает:

— Ты, верно, на аршин в землю видишь?

Яшке неохота перед барыней свою неустойку по глазам сказать, он и отвечает:

— Пониже наклонюсь, так всяк камешок разгляжу.

Барыня обрадовалась.

— Такого, — кричит, — мне и надо. Будешь главным щегарём на моей половине.

Яшке с малого-то ума это лестно.

— Рад, — отвечает, — стараться.

Барыня своё наказывает:

— Гляди, чтоб Саломирскову чего не донеслось, коли новое найдёшь!

Яшка, понятно, хвостом завилял.

— Будьте в спокое! Будьте в спокое! Которое я открою, то ни единой саломирсковской собачонке не унюхать.

Таким случаем, значит, и стал Яшка главным щегарём на турчаниновской половине.

Сперва-то маленько побаивался. Нет-нет и притащит барыне мешочек с камешками с какого-нибудь старого рудника. Вот, дескать, какую штуку обыскал. Только у барыни один разговор:

— Гляди, как бы саломирсковски про это не узнали. Вот суд кончится, тогда и покажешь это место.

Ну, а суд когда кончится! Яшка видит — спокойное дело, — вовсе осмелел. Покатывается на лошадке в седёлышке по всей заводской даче — и всё. Рожу наел — как не лопнет, а глаза на прищур держит, будто на-даля глядит. Какие знакомые руднишные встретятся, завсегда Яшке кукишку покажут, а сами наговаривают:

— Наше почтенье Яков Иванычу! Всю, поди, дачу вызнал, — эдак-то далеко глядишь!

Яшка, конечно, нос кверху. Пятнышки свои на губах погладит, да и говорит:

— Вкруте эко дело не поворотишь. Знаете, поди-ко, меня, — пустяком займоваться не стану!

Рудобои тут и примутся для смеху Яшке места

сказывать:

— Поглядел бы ты по Габеевке. На пятой версте. Мне дедушко сказывал.

Другой опять на Берёзовый увал приметки говорит. Ну, разное. Кто куда придумает.

Яшка тоже, как вытный, порядок ведёт. Вовсе будто к этому безо внимания, а сам, глядишь, и начнёт поезживать по тем местам. Руднишным это и забавно.

Раз в таком-то разговоре один рудобой и говорит:

— Что всамделе, ребята, вы к Яков Иванычу с пустяком липнете. Ему богатство открыть всё едино, что нам с вами плюнуть. Женится вот на вдове Шаврихе, да укажет она ему мужеву ямку с малахитом, — только и всего. Будет тогда на нашей половине модный рудник, почище полевских Гумёшек. Яковлевским его, поди, звать будут, а то, может, Зорковским? Как тебе больше глянется, Яков Иваныч?

Яшка, как ему в обычае, будто и не приметил разговору, а сам думает: «Верно. Был слушок, что покойный Шаврин где-то ямку с малахитом имел. Может, и впрямь вдова про это знает».

Яшка, видишь, в годах был, а неженатый. Девки его обегали, он и ладил жениться на какой ни на

есть вдове. К Шаврихе-то он шибко приглядывался. Совсем дело к свадьбе шло, да как раз барыня Яшку главным щегарём назначила. Ему и низко показалось на вдове из бедного житья жениться. Сразу дорожку в ту улицу забыл, где эта Шавриха жила. Года два, а то и больше не бывал, а тут, значит, и вспомнил. Стал на лошадке подъезжать. Дескать, знай наших! Не кто-нибудь, а главный щегарь!

У вдовы к той поре дочь Устя поспела. Самые ей те годы, как замуж отдают. Яшка слепыш-слепыш, а тоже разглядел эту деваху и давай удочки под этот бережок закидывать. Мать видит, какой поворот вышел, — не супорствует этому. Ещё и радуется.

— Вишь, дескать, Усте счастье какое! Глядишь, — и я за Яков Иванычевой спиной в спокое проживу, никто тревожить не станет. Вон он какой начальник! Пешком-то и ходить забыл. Всё на лошадке да на лошадке.

У Шаврихи тоже своя причинка была. Мужик-от у ней, покойная головушка, самостоятельного характеру был. Кремешок. Из-за этого, сказывают, и в доски ушёл. Он, видишь, малахитом занимался, и слушок шёл, будто свою ямку имел где-то вовсе близко от заводу. Ну, барские нюхалки и

подкарауливали. Один раз чуть не поймали, да Шаврин ухитрился — в болоте отсиделся. Тут нездоровье и получил. А как умер, жену и стали теснить.

— Сказывай, где малахитова ямка!

Шавриха — женщина смирная, про мужевы дела, может, вовсе не знала — что она скажет? Говорит по совести, а на неё пуще того наступают:

— Сказывай, такая-сякая!

Пригрожали всяко, улещали тоже, в каталажку садили, плетями били. Однем словом, мытарили. Еле она отбилась. С той вот поры она и стала шибко бояться всяких барских ухачей.

Устя у той вдовы, как говорится, ни в мать, ни в отца издалась.

Ровно с утра до ночи девка в работе, одежонка у ней сиротская, а всё с песней. Веселей этой девки по заводу нет. На гулянках первое запевало. Так её и звали — Устя-Соловьишна. Плясать тоже — редкий ей в пару сгодится. И пошутить мастерица была, а насчёт чего протчего — это не допускала. В строгости себя держала. Однем словом, живой цветик, утеха.

За такой девкой и при бедном житье женихи табунятся, а тут на-ко — выкатил млад ясен месяц на буланом мерине — Яшка Зорко Облезлый!

Устенька, конечно, сразу хотела отворотить ему оглобли — на смех его подняла. Только Яшка на это шибко простой. Ему, как говорится, плюнь в глаза, а он утрётся да скажет: божья роса.

Устюха всё ж таки не унывает.

«Подожди, — думает, — устрою я тебе штуку. Другой раз не поманит ко мне ездить».

Узнала, когда Яшка будет, спровадила куда-то мать, нагнала полную избу подружек, да и пристроила около порогу верёвку. Как Яшке в избу заходить, Устя натянула верёвку, он и чебурахнулся носом в пол, аж посуда на середе забренчала. Подружки смеху до потолка подняли, а Яшку не проняло. Поднялся, да и говорит:

— Не обессудьте, девушки, не доглядел вашей шутки. Привык, вишь, на-даля глядеть, под ногами-то и не заметил.

Что вот с таким поделаешь?



Другой раз Устенька шиповых колючек под седло Яшкину мерину насовала. Мерин хоть и вовсе смирный был, а тут сдичал — сбросил Яшку башкой на чьи-то ворота. Только Яшке хоть бы что.

Подружки Устины вовсе приуныли.

— Как ты, Устенька, отобьёшься! Стыда у Яшки ни капельки, а башка чугунная. Гляди-ка, чуть ворота не проломил, а хоть бы что.

И Устенька тоже пригорюнилась. Тут парни забеспокоились, как бы девку из беды вызволить. Первым делом, конечно, подкараулили Яшку в тихом месте, да и отмутузили. Кулаков, понятно, не жалели. Только Яшка и тут отлежался, а народу большое беспокойство вышло.

Бары хоть друг дружке не на глаза, а при таком случае небось в одну дуду задудели:

— Немедля разыскать, кто смел приказного бить! Эдак-то разохотятся, так — чего доброго — и барам неспокойно будет!

Занюхтили барские собачонки с обеих сторон. Виноватых, конечно, не нашли, а многим, кто на заметке у начальства был, пришлось спину показывать. На саломирсковской стороне палками тогда хлестали, а на турчаниновской — плетью. Которое слаще, им бы самим отведать.

Много народу отхлестали, а одному черняво-

му парню, — забыл его прозванье, — так ему с обеих сторон насыпали. Виноватее всех почто-то оказался.

Зато Яшка вовсе нос задрал. Барыня, вишь, придумала, что на Яшку озлобились за работу на барскую руку. Ну, хвалит, понятно, потом спрашивает:

— Не надо ли тебе чего?

Яшка не будь плох и говорит:

— Жениться хочу. На девахе из вашего владения. Шаврихи-вдовы дочь — Устинья.

— Это можно. — И велела Шавриху позвать. Та прибежала, объясняет барыне: дескать, сама-то всей душой, да деваха супротивничает.

— Старый, — говорит, — да облезлый.

Барыня завизжала, заухала:

— Да как она смеет! Её ли дело разбирать, кого в мужья дадут! Чтоб завтра же под венец!

По счастью, пост случился. По церковному правилу венчать нельзя. Осечка у барыни вышла.

Призвала всё ж таки попа и говорит:

— Как можно станет, сейчас же окрути эту девку! Без поблажки, смотри!

Наказала так-то и укатила в Щербаковку жеребцов гонять.

Пришла Шавриха домой, объявила Усте бары-

нину волю, а Устя ничего.

— Ладно, — говорит.

Задушевные подружки прибежали, болезнуют:

— Приходится, видно, за облезлого выходить.

Устя и им отвечает:

— Что поделаешь! И с облезлыми люди живут.

Подивились подружки, — что с девкой сделалось! — убежали. Тут и сам женишок прикатил, а Устя его всяко привечает. Яшка и обрадовался: «Поняла, знать, девка своё счастье. Теперь уж малахитовая яма моя будет».

Только подумал, Устюха и говорит ему навстречу:

— Спрашивают меня люди, не знаю ли про отцовскую малахитовую ямку, да я не сказываю.

Яшка башкой заболтал:

— Так и надо! Так и надо! Никому не сказывай! Мне только укажи!

— Тебе-то, — отвечает Устенька, — и подавно боюсь сказать. Ещё откажешься тогда от меня. Засмеют меня люди.

Яшка заклялся-забожился:

— Никогда не откажусь! И барыня так велела. Разве можно против барынина приказу идти?

Устенька ещё помялась маленько, да и говорит:

— Страшное это дело, Яков Иваныч! Как бы худа тебе не вышло.

Яшка расхрабрился.

— Никого не боюсь. Укажи место!

— То-то и есть, — отвечает Устенька, — что место, где богатство открывается, никому неизвестно. А могу я сказать, в которое время и где голос слушать.

— Какой, — спрашивает, — голос?

— А тот, который богатство-то указывает.

Тут Устенька и рассказала:

— Покойный тятенька так мне про это сказывал. Есть, дескать, близ Климинского рудника берёза приметная. Всю её губой-слезомойкой изъело, она и согнулась дугой. Только три прута здоровых остались, как три тычка по дуге поставлены. Вот под этой берёзой надо стать ночью как раз в эту пору, когда травы наливаются. От Андрея Наливы до Иванова дня. В руках надо держать веник — банный опарыш и стоять крепко, не ворочаться, не оглядываться. Тут и услышишь голос женский — песню поёт. Потом этот голос тебя спросит, кто ты такой да зачем пришёл. А как ты скажешь, полетят в тебя камни да песок, а голос опять спросит:

— Которое тебе надо?

Ты, как узнаешь на руку, что тебе надобно, так и кричи скорее:

— Вот это.

Голос тебе и укажет место. А там уже дело простое. Потяни в том месте за траву, и откроется тебе западёнка, как ход в гору, а там этого песку либо руды сколь хочешь, хоть возами греби. Только под берёзу надо пешком идти. На лошади поедешь — ничего не услышишь. И банный опарыш, смотри, из рук не выпускай! Да коли какой камешок в тебя угодит, потерпи как-нибудь, не закричи!

Выслушал Яшка этот разговор и в тот же день уехал берёзу искать. Нашёл ловко. Все приметы сошлись.

Вечером взял Яшка мешок, спрятал в него банный опарыш, да и пошёл на примеченное место.

Ночью в лесу, хоть и летом, одному без огонька скучненько. Ну, Яшка об этом не думал, спозаранку считал, сколько ему из богатства урвать достанется. Стоит как пень — не пошевельнётся и банный опарыш в руках держит.

Как вовсе глухая ночь настала, слышит — голос женский запел. Тихонько и где-то совсем близко. Песня незнакомая. Яшка только и разобрал: «Милый друг, ясны глазыньки».

Потом голос спрашивает:

— Ты, молодец, кто такой будешь и зачем пришёл?

Яшка назвал-звеличал себя, да и объясняет:

— Малахитовой руды доступить желаю.

— А ты, — спрашивает голос, — женатый али холостой?

— Холостой, — говорит Яшка.

— То-то! Женатым я не пособляю! — говорит голос.

Потом опять спрашивает:

— Ты камнерез али рудобой?

— Я главный щегарь!

— Вон что! — вроде как удивилась та женщина. — Тебе, значит, всякой породы камни подойдут? Получай, не то, да выбирай, какое любее!

Тут посыпались в Яшку камни да песок. До того порно бьют, что едва на ногах Яшка держится, даром что мужик здоровенный. Не до того ему, чтобы породу выбирать, да и где такому в потёмках на руку понять камень? Одна плитка садчее других пришлась. Яшка ухватил её, да и кричит недоладом:

— Эта вот самая! Эта!

Тогда женщина и говорит:

— Ладно. Приходи завтра в это же время к Карасьей горе. Там скажу тебе, что надо. — И объяснила, в котором месте дожидаться. После этого голоса не стало.

Яшка постоял ещё сколько-то, потом давай по земле руками шарить, камни подбирать. Полон мешок нагрёб и поволок его домой, как светать стало. Еле доволок, даром что чуть не половина камней по дороге через дырки в мешке высыпалась. Яшка и не заметил. Говорит ещё:

— Вишь, как утряслось!

Стал дома камни разглядывать. Разное оказалось. Котора руда железная, которое просто галька. Ну, и малахит есть. Та плитка, которую Яшка сперва ухватил и за пазуху спрятал, тоже малахитовая оказалась. Да и малахит-то поделочный, самого высокого сорту.

Обрадовался Яшка, про синяки и раны свои сразу забыл. «Как бы, — думает, — не сорвалось! Что это она про женатых говорила? Ладно ли, что я жениться собираюсь?»

Раздумывать Яшке всё ж таки не время. Засветло надо сперва оглядеться, а Карасья гора не близкое место. Запрятал мешок с породой, поел, да и поехал. Того и не думает, что за ним подглядывают.

Утром-то, как Яшка под мешком кряхтел, его видели саломирсковски прислужники и камешок — один или два — подобрали. У собачонок, известно, завычка, — как бы друг дружку подкусить. Сейчас же, значит, эти камешки своему барину представили.

— Вот-де с чем турчаниновский щегарь по городской дороге шёл, а наш щегарь куда глядит?

Барин, как ему втолковали, чем эти камешки пахнут, не хуже жеребца на дыбы поднялся. Своему-то щегарю Санку Масличку малахитиной в зубы:

— Погложи-ко!

Санко завертелся:

— Буду стараться.

У барина свой разговор:

— Три дня сроку! Коли не узнаешь, из-под палок не встанешь!

Тут Масличко и заповорачивался. Первым делом погнал по городской дороге — не оставил ли Яшка ещё следочка, а дружкам своим наказал:

— Глядите за Яшкой!

На городской дороге ничего не нашёл. Приехал домой, дружки и сказывают — туда-то Яшка проехал. Масличко в ту же сторону кинулся, да и подкараулил Яшку, а тот сослепу и не приметил.

К вечеру Яшка опять захватил мешок с банным опарышем, да и зашагал к Карасьей горе, а Масличко за ним крадётся.

Добрался Яшка до большого камня и тут остановился. Достал что-то из мешка, перед носом держит, а сам стоит, не пошевельнётся. И Масличко недалеко от того места притаился.

Как ночь глухая наступила, близенько от Яшки на траве светлячок загорелся. За ним другой, третий, да и насыпало их. Как западёнку на траве обвели, и кольцо посерёдке. Только-только поднять, а тут женский голос и спрашивает:

— Это у тебя, молодец, на что банный опарыш?

Яшка, видно, вкруте не смекнул, как ответить, да и ляпнул:

— Невеста мне так велела.

Женщина вроде как осердилась:

— Как ты смел тогда ко мне являться! Сказано тебе — женатым не пособляю, а женихам и подавно!

Яшка тут и давай изворачиваться:

— Не сердись, сделай милость! Подневольный человек — что поделаешь! Барыня это мне велела. Сам-то я только о том и думаю, как бы от этой невесты отбиться.

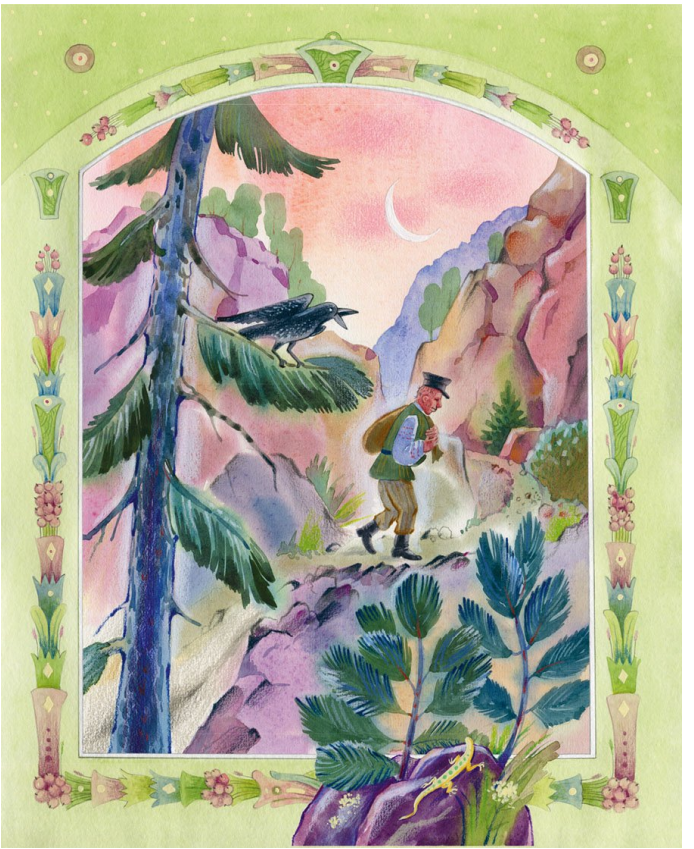
— Вот, — отвечает женщина, — сперва отбейся,

тогда и ко мне приходи! Только не на это место, а на Полевскую дорогу. Знаешь Григорьевский рудник? Вот там найди такую же берёзу, под какой первый раз стоял. Под этой берёзой и будет тебе западёнка. Поднимешь её за траву и бери, сколько окажется.

Замолчала женщина. Яшка постоял ещё, а как светать стало, побежал домой. Ну, а Масличко остался. Хотел, видно, при свете то место хорошенько оглядеть.

Прибежал Яшка домой. Схватил мешок с камнями да айда-ко к барыне, в Щербаковку. Рассказал ей, вот-де штука какая выходит, и камни показал. Барыня, как поняла, сейчас завизжала:

— Не сметь у меня и заикаться о женитьбе! Надо о барской выгоде стараться, а не о пустяках думать! А попу да приказчику скажи, чтоб ту негодную девку обвенчали, как приказано. Пущай приказчик найдёт ей жениха, да такого, чтоб хуже его не было!



Приехал Яшка домой, передал приказчику да попу барынин наказ насчёт Устеньки, а сам ко Григорьевскому руднику побежал. До ночи искал берёзу — не мог найти. На другой день тоже. Так и пошло. Ходит около рудника с утра до вечера. Про то и думать забыл, что Иванов день давно прошёл. Отстрадовали люди, к зиме дело пошло, а Яшка всё около рудника топчется — кривую берёзу ищет. Берёзы реденько попадаются, да все прямые. Какая Яшке сослепу кривой покажется, под той он до ночи стоит, а ночью примется траву драть. Начисто кругом опашет. Нет, не открывается западёнка.

Однем словом, ума решился. Вовсе дурак стал. Из-за жадности-то своей. Барыня, конечно, пробовала лечить Яшку плетями, — будто он богатство Саломирскову продал, — да тоже ничего не вышло. Так, сказывают, и замёрз Яшка на Григорьевском руднике, под берёзой.

А Санка Масличка у Карасьей горы мёртвого нашли. И стяжок берёзовый рядом оставлен. Стяжок ровно лёгонький, да рука, видать, тяжёлая пришлась. Может, Масличко близко к месту подошёл, али ещё какая опаска от него вышла, — его, значит, и стукнули. А может, и за другое. Тоже ведь было за что.

Барин Саломирсков по этому случаю жалобу подал: «Турчаниновски моего главного щегаря убили и богатство спрятали». Турчаниновски опять наоборот: «Саломирсков нашего главного щегаря с ума свел и богатство украл». Потом, конечно, на каждой половине других щегарей назначили, а наказ им всё тот же:

— Гляди у меня! Как бы другая половина чего не нашла!

Ну, те и давай стараться волчьим обычаем. Только о том и думают, как бы свой кусок ухранить, а чужой из зубов вырвать. Дорогие пески пустяком заваливают, в пустые пески золотом стреляют, породу где не надо подбрасывают и протча тако. Мало сказать, путают — начисто нитки рвут.

Какому старателю посчастливит на новое место натакаться, того сейчас к приказчику волокут, а там один разговор:

— Зарой и забудь, а не то!.. Понял?

А как не поймёшь, коли дело бывалое? Чуть кто заартачится, того с семьёй на дальние прииска сгонят, а то и в солдаты сдадут либо вовсе с концом в Сибирь упекают. Ну, а кто не упирается — тому стакан вина да рублёвка серебра. Просто понять-то.

Так вот и зарывали да забывали. Иное, поди, и вовсе зарыли да забыли. И не найдёшь!

Про травяную западёнку всё ж таки разговор не заглох. Нет-нет, да и пройдёт.

Ягодницы либо ещё кто видели… Вовсе на гладком покосном месте подъехал мужик на телеге. Потянул за траву, и открылась ему западёнка. Спустился он в эту западёнку и давай оттуда малахитовые камни таскать да на телегу складывать. Закрыл потом пологом и поехал потихоньку, и западёнки не стало.

Насчёт места только путают. Кто говорит — у городской дороги это было, где сперва малахитины-то нашли, кто — у Григорьевского рудника, где Зорко замёрз. Другие опять сказывают, что у Карасьей горы, близко от того места, где Масличка нашли. Однем словом, путанка. Крепконько, видно, ту западёнку травой затянуло…

А об Устеньке что сказать? Её, как Петровки прошли, замуж отдали. Приказчик вовсе и думать не стал, кого ей в мужья, сразу попу сказал:

— Виноватее такого-то у меня нет. Совсем от рук парень отбился. Кабы не хороший камнерез был, давно бы его под красную шапку поставил!

И указал попу на того чернявого парня, которого с двух-то сторон за Яшку хлестали.

Попу не всё едино, с кого деньги сорвать? Обвенчал, как указано, да Устенька и не супротивничала. Весёленько замуж выходила и потом, слышно, не каялась. До старости не покинула девичьей своей привычки. Где по заводу песня завелась, так и знай — непременно тут Устя-Соловьишна.

С мужиком-то своим они складненько жили. Камнерез он у ней был, и ребята по этому же делу пошли. Нынешний сысертский малахитчик Железко из этой же семьи. Устинье-то он не то внучком, не то правнучком приходится.

Кто вот слыхал про Соловьишну да Зорка, те и думают, что этот Железко про травяную западёнку знает. Спрашивают у него: скажи, дескать, в котором месте? Только Железко — железко и есть: немного из него соку добудешь.

Подпоить сколько раз пробовали, — тоже не выходит. Железко-то, сказывают, поить, как песок поливать. Сами упарятся: ноги врозь, язык на губу, а Железко сухим-сухохонек да ещё посмеивается:

— Не сказать ли вам, друзья, побасенку про травяную западёнку? В каком месте её искать, с которой стороны отворять, чтоб барам не видать?

Вот он какой — Устиньин-то внучек! Да и как его винить, коли у него дело такое. Ведь только обмолвись — сейчас на том месте рудник разведут, а где камень на поделку брать? Железко, значит, и укрепился.

— Ищите сами!

Ну, найти не просто. Барским-то щегарям тут, видно, кто-то и с умом пособил следок запутать. С умом и разбирать надо. А по всему видать, есть она — травяная-то западёнка. Берут из неё люди по малости. Берут.

Вот кому из вас случится по тем местам у земляного богатства ходить, вы это и посмекайте. А на мой глаз, ровно ниточки-то больше к Карасьей горе клонят. У этой горы до Карасьего озера и поглядеть бы! А? Как, по-вашему?



Таюткино зеркальце

Был ещё на руднике такой случай.

В одном забое пошла руда со шлифом. Отобьют кусок, а у него, глядишь, какой-нибудь угольшек гладёхонек. Как зеркало блестит, глядись в него — кому любо.

Ну, рудобоям не до забавы. Всяк от стариков слыхал, что это примета вовсе худая.

— Пойдёт такое — берегись! Это Хозяйка горы зеркало расколотила. Сердится. Без обвалу дело не пройдёт.

Люди, понятно, и сторожатся, кто как может, а начальство в перву голову. Рудничный смотритель как услышал про эту штуку, сразу в ту сторону и ходить перестал, а своему подручному надзирателю наказывает:

— Распорядись подпереть проход двойным перекладом из лежаков да вели очистить до надёжного потолка забой. Тогда сам погляжу.

Надзирателем на ту пору пришёлся Ераско Поспешай. Егозливый такой старичонко. На глазах у начальства всегда рысью бегал. Чуть ему скажут, со всех ног кинется и без толку народ

полошит, как на пожар.

— Поспешай, робятушки, поспешай! Руднично дело тихого ходу не любит. Одна нога здесь, другая нога там.

За суматошливость-то его Поспешаем и прозвали.

Только в этом деле и у Поспешая ноги заболели. В глазах свету не стало, норовит чужими поглядеть. Подзывает бергала-плотника, да и говорит:

— Сбегай-ко, Иван, огляди хорошенько да смекни, сколько брёвен подтаскивать, и начинайте благословясь. Руднично дело, сам знаешь, мешкоты не любит, а у меня, как на грех, в боку колотьё поднялось и поясница отнялась. Еле живой стою. К погоде, видно. Так вы уж без меня постарайтесь! Чтоб завтра к вечеру готово было!

Бергалу податься некуда — пошёл, а тоже не торопится. Сколь ведь в руднике ни тошно, а в могилу до своего часу всё же никому неохота. Ераско даже пригрозил:

— Поспешай, братец, поспешай! Не оглядывайся! Ленивых-то, сам знаешь, у нас хорошо на пожарной бодрят. Видал, поди?

Он — этот Ераско Поспешай — лисьей повадки человечишко. Говорил сладенько, а на деле самый зловредный был. Никто больше его народу

под плети не подводил. Боялись его.

На другой день к вечеру поставили переклады. Крепь надёжная, что говорить, только ведь гора! Бревном не удержишь, коли она осадку даёт. Жамкнет, так стояки-брёвна, как лучинки, хрустнут, и лежакам не вытерпеть: в блин их сдавит. Бывалое дело.

Ераско Поспешай всё же осмелел маленько. Хоть пристанывает и на колотьё в боку жалуется, а у перекладов ходит и забой оглядел. Видит — дело тут прямо смертное, плетями в тот забой не всякого загонишь. Вот Ераско и перебирает про себя, кого бы на это дело нарядить.

Под рукой у Ераска много народу ходило, только смирнее Гани Зари не было. На диво безответный мужик выдался. То ли его смолоду заколотили, то ли такой уродился — никогда поперёк слова не молвит. А как у него семейная беда приключилась, он и вовсе слова потерял. У Гани, видишь, жена зимним делом на пруду рубахи полоскала, да и соскользнула под лёд. Вытащить её вытащили, и отводилась, да, видно, застудилась и к весне свечкой стаяла. Оставила Гане сына да дочку. Как говорится, красных деток на чёрное житьё.

Сынишко не зажился на свете, вскорости за матерью в землю ушёл, а девчоночка ничего

— востроглазенькая да здоровенькая, Таюткой звали. Годов четырёх она от матери осталась, а в своей ровне уж на примете была — на всякие игры первая выдумщица. Не раз и доставалось ей за это.

Поссорятся девчонки на игре, разревутся, да и бегут к матерям жаловаться.

— Это всё Тайка Заря придумала!

Матери, известно, своих всегда пожалеют да приголубят, а Таютке грозят:

— Ах она, вострошарая! Поймаем вот её да вицей! Ещё отцу скажем! Узнает тогда, в котором месте заря с зарёй сходится. Узнает!

Таютка, понятно, отца не боялась. Чуяла, подико, что она ему, как порошинка в глазу, — только об ней и думал. Придёт с рудника домой, одна ему услада — на забавницу свою полюбоваться да послушать, как она лепечет о том, о другом. А у Таютки повадки не было, чтобы на обиды свои жаловаться, о весёлом больше помнила.

Ганя с покойной женой дружно жил, жениться второй раз ему неохота, а надо. Без женщины в доме с малым ребёнком, конечно, трудно. Иной раз Ганя и надумает — беспременно женюсь, а как послушает Таютку, так и мысли врозь.

— Вот она у меня какая забавуха растёт, а маче-

ха придёт — всё веселье погасит.

Так без жены и маялся. Хлеб стряпать соседям отдавал и варево, какое случалось, в тех же печах ставили. Пойдёт на работу, непременно соседским старухам накажет:

— Доглядите вы, сделайте милость, за моей-то.

Те понятно:

— Ладно, ладно. Не беспокойся!

Уйдёт на рудник, а они и не подумают. У всякой ведь дела хоть отбавляй. За своими внучатами доглядеть не успевают, про чужую и подавно не вспомнят.

Хуже всего зимой приходилось. Избушка, видишь, худенькая, теплуху подтапливать надо. Не малой же девчонке это дело доверить. Старухи вовремя не заглянут. Таютка и мёрзнет до вечера, пока отец с рудника не придёт да печь не натопит. Вот Ганя и придумал:

— Стану брать Таютку с собой. В шахте у нас тепло. И на глазах будет. Хоть сухой кусок, да вовремя съест.

Так и стал делать. А чтобы от начальства привязки не было, что, дескать, женскому полу в шахту спускаться нельзя, он стал обряжать Таютку парнишком. Наденет на неё братнюю одежонку, да и ведёт с собой.

Рудобои, которые по суседству жили, знали, понятно, что у Гани не парнишко, а девчонка, да им-то что. Видят, — по горькой нужде мужик с собой ребёнка в рудник таскает, жалеют его и Таютку позабавить стараются. Известно, ребёнок! Всякому охота, чтоб ему повеселее было. Берегут её в шахте, потешают, кто как умеет. То на порожней тачке подвезут, то камешков узорчатых подкинут. Кто опять ухватит на руки, подымет выше головы, да и наговаривает:

— Ну-ко, снизу погляжу, сколь Натал Гаврилыч руды себе в нос набил. Не пора ли каёлкой выворачивать?

Подшучивали, значит. И прозвище ей дали — Натал Гаврилыч.

Как увидят, сейчас разговор:

— А, Натал Гаврилыч!

— Как житьишком, Натал Гаврилыч?

— Отцу пособлять пришёл, Натал Гаврилыч? Дело, друг, дело. Давно пора, а то где же ему одному управиться.

Не каждый, конечно, раз таскал Ганя Таютку с собой, а всё-таки частенько. Она и сама к тому привыкла, чуть не всех рудобоев, с которыми отцу приходилось близко стоять, знала.

Вот на этого-то Ганю Ераско и нацелился. С

вечера говорит ему ласковенько:

— Ты, Ганя, утре ступай-ко к новым перекладам. Очисти там забой до надёжного потолка!

Ганя и тут отговариваться не стал, а как пошёл домой, заподумывал, что с Таюткой будет, коли гора его не пощадит.

Пришёл домой — у Таютки нос от рёву припух, ручонки расцарапаны, под глазом синяк и платьишко всё порвано. Кто-то, видно, пообидел. Про обиду свою Таютка всё-таки сказывать не стала, а только сразу запросилась:

— Возьми меня, тятя, завтра на рудник с собой.

У Гани руки задрожали, а сам подумал: «Верно, не лучше ли её с собой взять? Какое её житьё, коли живым не выйду!»

Прибрал он свою девчушку, сходил к соседям за похлёбкой, поужинали, и Таютка сейчас же свернулась на скамеечке, а сама наказывает:

— Тятя, смотри не забудь меня разбудить! С тобой пойду.

Уснула Таютка, а отцу, конечно, не до этого. До свету просидел, всю свою жизнь в голове перевёл, в конце концов решил:

— Возьму! Коли погибнуть доведётся, так вместе.

Утром разбудил Таютку, обрядил её по обы-

чаю парнишком, поели маленько и пошли на рудник.

Только видит Таютка, что-то не так: знакомые дяденьки как незнакомые стали. На кого она поглядит, тот и глаза отведёт, будто не видит. И Натал Гаврилычем никто её не зовёт. Как осердились все. Один рудобой заворчал на Ганю:

— Ты бы, Гаврило, этого не выдумывал — ребёнка с собой таскать. Неровён час, какой случай выйдет.

Потом парень-одиночка подошёл. Сам сбычился, в землю глядит и говорит тихонько:

— Давай, дядя Гаврило, поменяемся. Ты с Таюткой на моё место ступай, а я на твоё.

Тут другие зашумели:

— Чего там! По жеребьёвке надо! Давай Поспешая! Пущай жеребьёвку делает, коли такое дело!

Только Поспешая нет и нет. Рассылка от него прибежал: велел, дескать, спускаться, его не дожидаючись. Хворь приключилась, с постели подняться не может.

Хотели без Поспешая жеребьёвку провести, да один старичок ввязался. Он — этот старичонко — на доброй славе ходил. Бывальцем считали и всегда по отчеству звали, только как он низенького росту был, так маленько с шуткой

— Полукарпыч.

Этот Полукарпыч мысли и повернул.

— Постойте-ко, — говорит, — постойте! Что зря горячиться! Может, Ганя умнее нашего придумал. Хозяйка горы наверняка его с дитёй-то помилует. Податная на это, — будьте покойны! Гляди, ещё девчонку к себе в гости сводит. Помяните моё слово.

Этим разговором Полукарпыч и погасил у людей стыд. Всяк подумал: «На что лучше, коли без меня обойдётся», — и стали поскорее расходиться по своим местам.



Таютка не поняла, конечно, о чём спор был, а про Хозяйку приметила. И то ей диво, что в шахте всё по-другому стало. Раньше, случалось, всегда на людях была, кругом огоньки мелькали и людей видно. Кто руду бьёт, кто нагребает, кто на тачках возит. А на этот раз все куда-то разошлись, а они с отцом по пустому месту вдвоём шагают, да ещё Полукарпыч увязался за ними же.

— Мне, — говорит, — в той же стороне работа, провожу до места. — Шли-шли, Таютке тоскливо стало, она и давай спрашивать отца:

— Тятя, мы куда пошли? К Хозяйке в гости?

Гаврило вздохнул и говорит:

— Как придётся. Может, и попадём.

Таютка опять:

— Она далеко живёт?

Гаврило, конечно, молчит, не знает, что сказать, а Полукарпыч и говорит:

— В горе-то у ней во всяком месте дверки есть, да только нам не видно.

— А она сердитая? — спрашивает опять Таютка, а Полукарпыч и давай тут насказывать про Хозяйку, ровно он ей родня либо свойственник. И такая, и сякая, немазаная-сухая. Платье зелёное, коса чёрная, в одной руке каёлка махонькая, в другой цветок. И горит этот цветок, как хорошая

охапка смолья, а дыму нет. Кто Хозяйке поглянется, тому она этот цветок и отдаст, а у самой сейчас же в руке другой появится.

Таютке это любопытно. Она и говорит:

— Вот бы мне такой цветочек!

Старичонко и на это согласен:

— А что ты думаешь? Может, и отдаст, коли пугаться да реветь не будешь. Очень даже просто.

Так и заговорил ребёнка. Таютка только о том и думает, как бы поскорее Хозяйку поглядеть да цветочек получить. Говорит старику-то:

— Дедо, я ни за что, ну вот ни за что не испугаюсь и реветь не буду.

Вот пришли к новым перекладам. Верно, крепь надёжная поставлена, и смольё тут наготовлено. Ганя со стариком занялись смольё разжигать. Дело, видишь, такое — осветиться хорошенько надо, одних блёндочек мало, а огонь развести в таком месте тоже без оглядки нельзя.

Пока они тут место подходящее для огнища устроили да с разжогом возились, Таютка стоит да оглядывает кругом, нет ли тут дверки, чтоб к Хозяйке горы в гости пойти.

Глазёнки, известно, молодые, вострые. Таютка и углядела ими — в одном месте, невысоко от земли, вроде ямки кругленькой, а в ямке что-то

блестит. Таютка, не того слова, подобралась к тому месту, да и поглядела в ямку, а ничего нет. Тогда она давай пальчишком щупать. Чует гладко, а края отстают, как старая замазка. Таютка и давай то место расколупывать, дескать, пошире ямку сделаю.

Живо очистила место с банное окошечко да тут и заревела во всю голову:

— Тятя, дедо! Большой парень из горы царапается!

Гаврило со стариком подбежали, видят — как зеркало в породу вдавлено, шатром глядит и до того человека большим кажет, что и признать нельзя. Сперва-то они и сами испугались, потом поняли, и старик стал над Таюткой подсмеиваться:

— Наш Натал Гаврилыч себя не признал! Глядико — я нисколь не боюсь того вон старика, даром что он такой большой. Что хошь заставлю его сделать. Потяну за нос — он себя потянет, дёрну за бороду — он тоже. Гляди: я высунул язык, и он свой ротище раззявил и язык выкатил! Как бревно!

Таютка поглядела из-за дедушкина плеча. Точно — это он и есть, только сильно большой. Забавно ей показалось, как дедушка дразнится.

Сама вперёд высунулась и тоже давай всяки штуки строить.

Скоро ей охота стала на свои ноги посмотреть, пониже, значит, зеркало спустить. Она и начала с нижнего конца руду отколупывать. Отец с Полукарпычем глядят — руда под Таюткиными ручонками так книзу и поползла, мелкими камешками под ноги сыплется. Испугались: думали обвал. Ганя подхватил Таютку на руки, отбежал подальше, да и говорит:

— Посиди тут. Мы с дедушкой место очистим. Тогда тебя позовём. Без зову, смотри, не ходи — осержусь!

Таютке горько показалось, что не дали перед зеркалом позабавиться. Накуксилась маленько, губёнки надула, а не заревела. Знала, поди-ко, что большим на работе мешать нельзя. Сидит, нахохлилась да от скуки перебирает камешки, какие под руку пришлись. Тут и попался ей один занятный. Величиной с ладошку. Исподка у него руда-рудой, а повернёшь — там вроде маленькой чашечки либо блюдца. Гладко-гладко выкатано и блестит, а на закрайках как листочки прилипли. А пуще того занятно, что из этой чашечки на Таютку тот же большой парень глядит. Таютка и занялась этой игрушкой.



А тем временем отец со стариком в забое старались. Сперва-то сторожились, а потом на-машок у них работа пошла. Подведут каёлки от гладкого места, да и отворачивают породу, а она сыплется мелким куском. Верхушка только потруднее пришлась… Высоко, да и боязно, как бы порода большими кусками не посыпалась.

Старик велел Гане у забоя стоять, чтоб Таютка на ту пору не подошла, а сам взмостился на чурбаках и живой рукой верх очистил. И вышло у них в забое, как большая чаша внаклон поставлена, а кругом порода узором легла и до того крепкая, что каёлка её не берёт.

Старик для верности и по самой чаше не раз каёлкой стукал. Сперва понизу да с оглядкой, а потом начал базгать со всего плеча да ещё приговаривает:

— Дай-ка хвачу по носу старика — пусть на меня не замахивается!

Хлестал-хлестал, чаша гудит, как литая медь, а от каёлки даже малой чатинки не остаётся. Тут оба уверились — крепко. Побежал отец за Таюткой. Она пришла, поглядела и говорит:

— У меня такое есть! — и показывает свой камешок.

Большие видят — верно, на камешке чаша и

весь ободок из точки в точку. Ну, всё как есть — только маленькое. Старик тут и говорит:

— Это, Таютка, тебе Хозяйка горы, может, на забаву, а может, и на счастье дала.

— Нет, дедо, я сама нашла.

Гаврило тоже посомневался:

— Мало ли какой случай бывает.

На спор у них дело пошло. Стали в том месте, где Таютка сидела, все камешки перебирать. Даже сходства не обозначилось. Тогда старик и говорит:

— Вот видите, какой камешок! Другого такого в жизнь не найти! Береги его, Таютка, и никому не показывай, а то узнает начальство — отберут.

Таютка от таких слов голосом закричала:

— Не отдам! Никому не отдам!

А сама поскорее камешок за пазуху и ручонкой прижала — дескать, так-то надёжнее.

К вечеру по руднику слух прошёл:

— Обошлось у Гани по-хорошему. Вдвоём с Полукарпычем они гору руды набили да ещё зеркало вырыли. Цельное, без единой чатинки, и ободок узорчатый.

Всякому, конечно, любопытно. Как к подъёму объявили, народ и кинулся сперва поглядеть. Прибежали, видят — верно, над забоем зеркало

наклонилось, и кругом из породы явственно рама обозначилась, как руками высечена. Зеркало не доской, а чашей: в середине поглубже, а по краям на нет сошло. Кто поближе подойдёт, тот и шарахнется сперва, а потом засмеётся. Зеркало-то, видишь, человека вовсе несообразно кажет. Нос с большой угор, волос на усах, как дрова разбросали. Даже глядеть страшно и смешно тоже. Народу тут и набилось густо. Старики, понятно, оговаривают: не до смеху, дескать, тут, дело вовсе сурьёзное. А молодых разве угомонишь, коли на них смех напал. Шум подняли, друг над дружкой подшучивают. Таютку кто-то подтащил к самому зеркалу, да и кричит:

— Это вот тот большой парень зеркало открыл!

Другие отзываются:

— И впрямь так! Не будь Таютки, не смеяться бы тут. Таюткино зеркало и есть!

А Таютка помалкивает да ручонкой крепче своё маленькое зеркальце прижимает.

Ераско Поспешай, конечно, тоже услышал про этот случай — сразу выздоровел, спустился в шахту и пошёл к Ганиному забою. Вперёд шёл, так ещё про хворь помнил, а как оглядел место да увидел, что народ не боится, сразу рысью забегал

и закричал своим обычаем:

— Поспешай, ребятушки, к подъёму! Не до ночи вас ждать! Руднично дело мешкоты не любит. Эка невидаль — гладкое место в забое пришлось!

А сам, по собачьему положению, другое смекает:

— Рудничному смотрителю не скажу, а побегу к приказчику. Обскажу ему, как моим распорядком в забое такую диковину отрыли. Тогда мне, а не смотрителю награда будет.

Прибежал к приказчику, а смотритель уж там сидит да ещё над Ераском насмехается:

— Вон что! Выздоровел, Ерастушко! А я думал, тебе и не поглядеть, какую штуку без тебя на руднике откопали.

Ераско завертелся: дескать, за этим и бежал, чтоб тебе сказать.

А смотритель знай подзуживает:

— Худые, гляжу, у тебя ноги стали. За всяким делом самому глядеть доводится.

Ераску с горя не лук же тереть. Он думал-думал и придумал: «Напишу-ко я грамотку заграничной барыне. Тогда ещё поглядим, куда дело повернётся».

Ну, и написал. Так, мол, и так, стараньем надзирателя такого-то отрыли в руднике диковинное

зеркало. Не иначе самой Хозяйки горы. Не желаете ли поглядеть?

Ераско это с хитростью подвёл. Он так понял. Приказчик непременно барину о таком случае доведёт, только это ни к чему будет. Барин на ту пору из таких случился, что ни до чего ему дела не было, одно требовал — давай денег больше! А жена у этого барина из заграничных земель была.

У бар, известно, заведено было по всяким заграницам таскаться. Сысертский барин это же придумал: «Чем, дескать, я хуже других заводчиков. Поеду — людей посмотрю, себя покажу».

Ну, поездил у тёплых морей, поразбросал рублей, и домой его потянуло.

Только дорога-то шла через немецки земли, а там, видишь, на это дело, чтоб к чужим деньгам подобраться, нашлись больно смекалистые.

Видят — барин ума малого, деньгами ворочает большими, они и давай его обхаживать. Вызнали, что он холостой, и пристроились на живца ловить. Подставили, значит, ему немку посытее да повиднее, — из таких всё ж таки, коих свои немецкие женихи браковали, и вперебой стали ту немку нахваливать:

— Вот невеста так невеста! По всем землям объезди, такой не сыщешь. Домой привезёшь, у

соседей в глазах зарябит.

Барин всю эту подлость за правду принял, взял да и женился на той немке. И то ему лестно показалось, что невеста перед свадьбой только о том и говорила, как будет ей хорошо на новом месте жить. Ну, а как обзаконились да подписал барин бумажки, какие ему подсунули, так и поворот этому разговору. Молодая жена сразу объявила:

— Неохота мне что-то, мил любезный друг, на край света забираться. Тут привычнее, да и тебе для здоровья полезно.

Барин, понятно, закипятился:

— Как так? Почему до свадьбы другое говорила? Где твоя совесть?

А немка знай посмеивается.

— По нашим, — говорит, — обычаям невесте совести не полагается. С совестью-то век в девках просидишь, а это невесело.

Барин горячится, корит жену всякими словами, а ей хоть бы что. Своё твердит:

— Надо было перед свадьбой уговор подписать, а теперь и разговаривать не к чему. Коли тебе надобно, поезжай в свои места один. Сколь хочешь там живи, хоть и вовсе сюда не ворочайся, скучать не стану. Мне бы только деньги посылал вовремя. А не будешь посылать — судом взыщу,

потому законом обязан ты жену содержать, да и подпись твоя на это у меня имеется.

Что делать? Одному домой ехать барин поопасался: на смех, дескать, поднимут, — он и остался в немецкой земле. Долгонько там жил, всю заводскую выручку немцам просаживал. Потом, видно, начётисто показалось али другая какая причина вышла, привёз-таки свою немку в Сысерть и говорит:

— Сиди тут.

Ну, ей тоскливо, она и вытворяла что только удумает. На Азов-горе вон теперь дом с вышкой стоит, а до него там, сказывают, и не разберёшь что было нагорожено: не то монастырь, не то мельница. И называлась эта строянка Раззор. Этот Раззор при той заграничной барыне и поставлен был. Приедет будто туда с целой оравой, да и гарцуют недели две. Народу от этой барской гулянки несладко приходилось. То овечек да телят затравят, то кострами палы по лесу пустят. Им забава, а народу маята. За счастье считали, коли в какое лето барыня в наши края не приедет.

Ераску, понятно, до этого дела нет, ему бы свою выгоду не упустить, он и послал грамотку с нарочным. И не ошибся, подлая душа. На другой же день на семи ли, восьми тройках приехала бары-

ня со своей оравой и первым делом потребовала к себе Ераска.

— Показывай, какое зеркало нашёл!

Приказчик, смотритель и другое начальство прибежали. Узнали дело, отговаривают: никак невозможно женщине в шахту. Только сговорить не могут. Заладила своё:

— Пойду и пойду!

Тут ещё баринок из заграничных бодрится. При ней был. За брата или там за какую родню выдавала и завсегда с собой возила. Этот с грехом пополам балакает:

— Мы, дескать, с ней в заграничной шахте бывали, а это что! — Делать нечего, стали их спускать. Начальство всё в беспокойстве, один Ераско радуется, рысит перед барыней, в две блёндочки ей светит. Довёл-таки до места. Оглядела барыня зеркало. Тоже посмеялась с заграничным баринком, какими оно людей показывает, потом барыня и говорит Ераску:

— Ты мне это зеркало целиком вырежь да в Раззор доставь!



Ераско давай ей втолковывать, что сделать это никак нельзя, а барыня своё:

— Хочу, чтоб это зеркало у меня стояло, потому как я хозяйка этой горы!

Только проговорила, вдруг из зеркала рудой плюнуло. Барыня завизжала и без памяти повалилась.

Суматоха поднялась. Начальство подхватило барыню да поскорее к выходу. Один Ераско в забое остался. Его, видишь, тем плевком с ног сбило и до половины мелкой рудой засыпало. Вытащить его вытащили, да только ноги ему по-настоящему отшибло, больше не поспешал и народ зря не полошил.

Заграничная барыня жива осталась, только с той поры всё дураков рожала. И не то что недоумков каких, а полных дураков, кои ложку в ухо несут и никак их ничему не научишь.

Заграничному баринку, который хвалился: мы да мы, самый наконешничок носу сшибло. Как ножом срезало, ноздри на волю глядеть стали — не задавайся, не мыкай до времени!

А зеркала в горе не стало: всё осыпалось.

Зато у Таютки зеркальце сохранилось. Большого счастья оно не принесло, а всё-таки свою жизнь она не хуже других прожила. Зеркальце-

то, сказывают, своей внучке передала. И сейчас будто оно хранится, только неизвестно — у кого.

